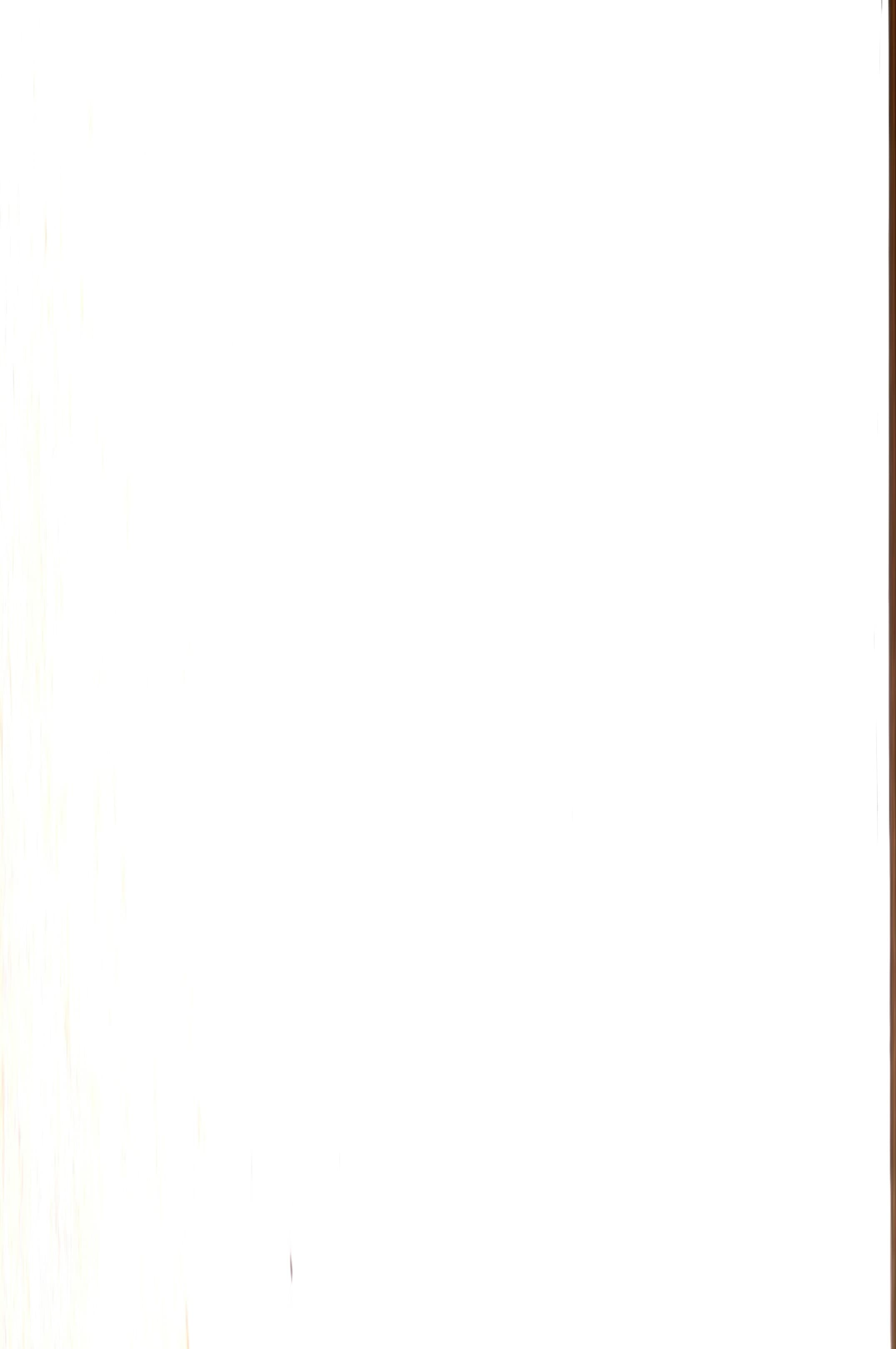


МИХАИЛ ГЛИНКА

УГЛОВНО- БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН





МИХАИЛ ГЛИНКА

**УГОЛОВНО-
БУЛЬВАРНЫЙ
РОМАН**



**М. П. «Свитязь»
Луцк**

ББК 84 /2=Рус./7
Г 54

Содержание романа Санкт-Петербургского писателя Михаила Глинка «Уголовно-бульварный роман» прочитывается в самом его названии. Итак, перед вами, читатель, книга о жизни и смерти, о любви и ненависти, о ставшем знаменитым московском беспределе, и, конечно, в меру секса, детектива, мистики.

Вы хотите ощутить дыхание времени, реалий сегодняшнего дня в двух российских столицах? Прочтите «Уголовно-бульварный роман» — он об этом.

Г 4703010100-041
92

Без объявления

ISBN 5 7707-2331-9

© Глинка М. С.
© М. П. «Связь» Редакция, оформление

I

С Москвой какой спор? Вон, двести лет продежурил в столицах Петербург и наладил у себя все так, что иностранцы до сих пор ездят цокать языками, и Пушкина с Лермонтовым, хоть те и родились в Москве, оформил Петербург на себя целиком, и всего Достоевского, конечно, а толку-то что? Результат всего этого какой? В апогее именно петербургского периода русской истории слышим мы тихую реплику чеховской героини. Если бы, говорит эта героиня, она жила в Москве, то, скорее всего, относилась бы равнодушно к погоде... И это тихим голосом, мечтательно потянувшись, и вообще как бы про себя.

— В Москве два университета.

— В Москве один университет.

— А я вам говорю — два.

И понять не можешь — то ли это опять из классики, то ли слышал вчера в поезде.

Дмитрий Грибов, ленинградец, тридцати семи лет, женатый вторично, подписка — два толстых журнала, один тонкий и три газеты, уже несколько месяцев числился слушателем московских курсов усовершенствования ИТР.

II

Сияющая чернь капала с завитков низеньких чугунных оград, тугой шпагат указывал границы будущих газонов, по всему бульвару на жердях плыли похожие на саркофаги скамейки.

Грибов со своими копал. Через час после начала работы садово-парковый мужик, с нагло раскрашенным щупом в руке, остановился возле Грибова и обвинительно ткнул оранжевой железкой во вскопанную им землю.

— Э-э-э, граждане начальники, — протянул он радостно, — так дело не пойдет. Какое учреждение? — и раскрыл заложенную нечистым пальцем записную книжку.

Грибов смотрел в землю. Для конца апреля что-то много попадалось червяков. Вот и сейчас на гладком срезе влажного кома корчился обрезок — чисто розовый и плотненький, толщиной со спичку. Задетые лопатой раньше куда-то быстро уползали, втягивались, предполагали выжить. Этот только подпрыгивал.

— Что за контора? — повторил мужик.

Грибов поднял голову.

— Театр, что ли? Так тут не ногами дрыгать...

— Иди отсюда... — вдруг холодея, выдохнул Грибов, а так как тут же и отошел, то с удивлением услышал, как женский голос из-за его спины отчетливо закончил:

— ...холуй. Газонный.

Голос был незнакомым, и Грибов повернул было голову, но краешком глаза ухватил, что мужик делает к нему угрожающий шаг.

— Ну?! — оживляясь, подбодрил Грибов. Пальцы ощущали шершавую ручку новой лопаты. Но мужик уже остановился. — Что ж ты? — разочарованно пробормотал Грибов и оглянулся.

Девушка стояла на дорожке метрах в трех от него. Светлый плащ нараспашку, а платье — темное и, сразу видно, очень дорогое.

— Вот, значит, почему про театр, — подумал Грибов.

Грудь девушки была поднята вызывающе высоко. Корсет, что ли? Да теперь у них, пожалуй, не разберешься... И, бессознательно оглядев девушку, но даже не посмотрев ей в глаза и не вникая, почему она лезет в чужие разговоры, Грибов отвернулся.

Мужик продолжал бубнить. Должно быть, он говорил одно и то же по всему километровому бульвару, а возможно, что уже и не первый год, и для таких именно звездных часов, когда все обязаны были внимать его словам, были заведены и оранжевый щуп, и дурацкая записная книжка. Бубня, мужик кровожадно оглянулся. Прямо через вспаханный газон к ним поспешно резала угол руководительница.

— Старшая? Вы здесь старшая?

— А что такое? Что здесь произошло?

— В хаханьки будем играть? Делать вид будем? Ну, ничего, разберемся! В другом месте разберемся!

Лицо Елены Петровны сразу осунулось.

— Да что, что случилось-то? Вы скажите мне... — забормотала она и на всякий случай испуганно добавила: — У нас вообще-то — вышли... почти все.

— Перед кем же это ты трясешься, — подумал Грибов.

Однако для Елены Петровны жизнь из того и состояла — то от глупости приходить в восторг, то по ерунде же ужасаться. Включили утром уличные динамики, и запорхала над газонами трясогузкой, а сейчас ее сшибли, как из рогатки.

— Вот уж не ожидала от вас... — опустив руки и углы губ, произнесла Елена Петровна. — Уж вы-то! От кого-кого, но не от вас...

Она обращалась при этом не только к Грибову, вскопанный участок которого был забракован, но и ко всем сразу.

Грибов оглянулся — девушки уже не было.

Курсы усовершенствования, на которых числился слушателем Дмитрий Грибов, были полугодовыми и предназначались для того, чтобы окончивший их мог быть утвержден... Дальше следовали названия должностей. Большинство слушателей были приезжими.

Елена Петровна прошла мимо Грибова, строго посмотрела на его лопату, и он, если бы не занят был своими мыслями, заметил бы, что она уже оправилась от испуга и строгость ее лишь инерционна.

Но Грибов этого не заметил. Он снова принялся копать и снова углубился в собственные мысли. Думал же он о том, о чем, как ему казалось, должны были думать сейчас все.

Отправляя на почте бандероль и видя, как ее еще при нем равнодушно швыряют в угол, он понимал, что бандероль не дойдет. Видя, как на овощебазу загружаются овощи, он понимал, что все они пропадут. Наблюдая за тем, какую гниль и ржавчину обнажает выкопанная поперек улицы траншея, он, ему казалось, мог предсказать точно, как скоро в городе перестанут действовать водопровод и отопление. Однако письма все-таки доходили, картошка, хоть и с гнильцой, но до магазинов добиралась, людям, хоть и побегав, но удавалось во что-то не совсем уродливое одеться, и все бралось и бралось откуда-то, хоть и не без перебоев, и бензин, и соль, и тарелки, и кроличьи шапки, и даже (ну, до них ли сейчас, когда все трещит!) вилочки для лимона. И, выдерживая фантастические нагрузки, можно сказать, без усталости, работало метро... Но ведь так не могло продолжаться бесконечно? Слой того, что постоянно тратилось, был пленочным, тончайшим... А дальше-то что? Дальше?

Девушка, которая так нелепо выступила союзницей Грибова, оказывается, никуда не ушла. Она стояла вдалеке и чуть заметно улыбалась. Обведя взглядом своих сокурсников, Грибов увидел, что не один он на нее смотрит. Платье ее и дорогие туфли среди простецкой одежды копавших газоны выглядели нелепо. Повернувшись к Грибову спиной, девушка пошла вниз по бульвару и так медленно, глядя под ноги, шла, что казалось, будто по дощечке через ручей... «Уж не подколота ли?» — подумал Грибов и тут же забыл о странной девушке.

— Смотрите-ка! Кто приехал!

Перетащив ногу через оградку, южного вида человек с гипсовой негнущейся ногой, ухмыляясь и поправляя тубетейку, приближался к Елене Петровне. Грибов узнал однокурсника.

— Вы зачем приехали? — глядя на гипсовую ногу, спросила Елена Петровна.

— Сто процентов явки надо? Я — сто процентов!

И так как Елена Петровна молчала, человек в тубетейке выхватил лопату и ударил себя по гипсовой ноге.

— Думаете, больно?

— Бред какой-то, — отворачиваясь, подумал Грибов. Но это тоже было из сегодняшних его размышлений: юродство, ерничанье взрослых людей, их готовность играть фиктивные роли.

Отмеренный кусок невскопанного газона быстро уменьшался. Налегая на лопату, Грибов чуял ногой скрытые под землей мелкие камешки, прошлогодние слабые корни, вставшие наискосок к лопате гнилушки. Вдруг и правда трава здесь расти не станет? Повсюду поднимется, а тут лысина? И Грибов, стараясь не вглядываться в отваленные комки, стал копать глубже.

— Заканчиваете? — спросила, останавливаясь около Грибова, Елена Петровна и улыбнулась. — Бунтовщик!

Было в ней действительно что-то от мелкой птицы: морозец — сразу нахохлимся, солнышко — чик-чивик. Грибову оставалось ткнуть лопатой всего несколько раз.

— И шуметь нечего было, — совсем уже по-семейному зачирикала Елена Петровна. — Все, оказывается, можете, когда захотите!

Но тут же голос ее набрал командирскую громкость:

— Никому не уходит! Нашу работу должны принять целиком!

— Для чего — целиком? — обозлился Грибов. — Нам что, по одиннадцать лет?

— Ну вот вы опять! Да что это с вами сегодня? Обождете!

Последние, грубоватые вообще-то, слова Елена Петровна опять сдобрила улыбкой, а улыбка у нее была замечательной. Но Грибову сегодня ни в какую не удавалось быть покладистым, и Елена Петровна это уловила.

— Вот что, Грибов... Раз именно вы так торопитесь, идите-ка и разыщите этого... ответственного! Вы же его знаете! Пусть идет принимать!

И Елена Петровна крепко взяла своими тонкими пальцами руку Грибова между локтем и плечом и как бы нежно, но вообще-то властно подтолкнула его к дорожке.

— Ждем! — вдогонку сказала она.

А Грибов от этих вполне добродушных слов и ласково-требовательных прикосновений чуть не взбесился. И не в том дело, что трудно ему было для Елены Петровны пошевелиться. Для нее лично — пожалуйста. Но Елена Петровна погнала его, как школяра, как подчиненного ей подростка. А это самое болезненное и даже оскорбительное обстоятельство. Сначала тебе диктуют какой-то пустяк, взбунтоваться из-за которого может лишь

отпетый склочник, но не успеешь оглянуться, оказывается: тебе и знать-то можно лишь то, о чем тебе разрешат знать.

Ах, Москва, Москва!

Притягательная и отталкивающая, убогая и великолепная, разгадываемая с полувзгляда и полная таинственных лабиринтов, место жительства простаков и чудищ, эпицентр новостей и анекдотов, объект номер один для нашей не смыкающей радарные очи ПВО... По ходу повествования, наверно, пробормочем мы нечто подобное еще не раз — хотя бы потому (и это вы несомненно замечали), что если происходит с вами что-либо вне Москвы, так почему-то, черт знает почему, выбивается сие мелкое происшествие в характерность и даже чуть ли не в Знак...

III

Бульварный сквер, по которому в поисках мужика со щупом направился закипавший Дмитрий Грибов, сходилась чугунными оградами на клин, как нос корабля.

Необследованным оставался лишь последний небольшой треугольник. Кроме нескольких старушек с детьми, никого там, кажется, не было, но солнце светило прямо в лицо, и Грибов, чтобы окончательно все осмотреть, остановился и поднял руку, заслоняясь.

Мужика не было и тут.

— Слушай, что ты тут ищешь?

Из-под ладони оглядывая треугольник сквера, Грибов не сразу понял, что обращаются к нему.

— Ну, так что? — спросила девушка. — Кого ищешь?

— Да этого... — все еще кипя, пробормотал Грибов. — Ну, того, который...

— Ты что — того? — сморщившись, как от кислого, прервала его она.

— Дело в том...

— Да прекрати ты, — нетерпеливо и зло сказала девушка.

Он ошарашенно замолчал.

— Пойдем-ка со мной, — сказала девушка. — Чем здесь-то торчать

— Куда?

— Куда-куда?... А ко мне, — и сжалившись над его оторопью, добавила: — Выпьем. Скорей всего...

— Под указ?

— Ага.

Тридцать девять пар глаз смотрели Грибову в спину с расстояния в сто шагов.

— Это бы хорошо, — смутился Грибов. — Но меня... ждут. И... лопата!

— А-а... — без выражения сказала девушка. — Лопата? Так возьми ее с собой.

— «А подите-ка вы все», — вдруг опять мрачно зажигаясь, подумал Грибов.

— Ну? — повторила девушка.

— Что «ну?» — заорал Грибов.

— Чего ты орешь-то? Пошли.

Переждав машины, они пересекли мостовую. Грибов не оглядывался, только лопата его чиркала по асфальту, да спину жгло так, словно он получал сеанс амбулаторного прогрева.

— Вот тут, — деловито и даже хмуро кивнула девушка, останавливаясь перед закрытыми решетчатыми воротами.

— Где?

— Вот тут. Ты что — притворяешься? Или вообще такой?

Ворота были заперты на висячий замок, но один из вертикальных стержней чугунной решетки был выбит.

— Пролезешь? — спросила девушка и, подняв подола платья и плаща так, что блеснули белые трусики, поставила ногу на чугунную поперечину. — Чего стоишь? Подсади!

Протискиваясь вслед за ней между прутьями, Грибов подумал, что если от человеческих взглядов, нацеленных на тебя, что-то может произойти, то ему бы впору вспыхнуть сейчас бенгальским огнем.

Подворотня была засыпана толстым слоем алюминиевой стружки, издававшей под ногами громкий хрустящий скрип.

— Ну, давай, разгребай! — хохотнула, не оборачиваясь, девушка.

Грибов бросил лопату. На стружке валялись мятые тазы, водопроводные раковины, гнутые трубы, ржавые сетки кроватей. Поверх всего, превращая металлосвалку в декорацию неореалистического фильма, лежал на спине огромный мертвый холодильник: дверца — по-прозекторски отпахнута, из нутра торчат трубки и провода.

— Чего встал? — бросила через плечо девушка. — Увела я тебя. И все тут.

«И верно, увела», — тупо подумал Грибов. Мир, в котором он привычно ориентировался, остался по ту сторону чугунных ворот.

Вход на лестницу был прямо из подворотни. Дом казался необитаемым. И на первом этаже, и на втором, вокруг едва различимых в полутьме площадок, немо стояли мертвые запыленные двери. У дверей не было ни ручек, ни звонковых кнопок.

— Боишься, — утвердительно произнесла девушка. — Бойся, бойся. Погоди еще... — и слегка подтолкнула его в плечо.

На третьем этаже дверей не было вообще. С неосвещенной площадки уходил длинный коридор, вдали он расширялся в зал. Там виднелись сверкающие металлические баки. Какие-то люди в белых колпаках и халатах бродили с черпаками между баков.

— Что там? Кто?

— Дед Пихто, — вежливо ответила девушка. — Ад. Интересуешься?

Они прошли еще несколько этажей — кругом опять были глухие двери, еле различимые в полутьме. Масштаб времени перекосялся — Грибов с тупым изумлением подумал, что с момента, как он разглядывал залитый солнцем бульвар, не прошло еще и пяти минут.

— Сюда, — сказала девушка.

Дверь, перед которой они остановились, была обклеена прямо поверх косяков старым картоном. Рваные края картона змеились трещиной. В эту трещину девушка подсунула все пальцы сразу и потянула на себя. Раздался треск пересохших обоев. Дверь поползла.

— Входите, — разрешила девушка. Она впервые назвала его на «вы».

Грибов шагнул в комнату и оглянулся на дверь. В обоях, маскировавших дверь и со стороны квартиры, виднелась замочная скважина, а рядом отчетливо отпечатались ребристая подошва мужского сапога.

— Входите, — повторила девушка, скидывая на спинку стула свой плащ. — Что такое дом любви — слышали?

— Снимаешь? — спросил Грибов, озираясь. — Угол, что ли?

— А вы, оказывается, и такие слова знаете?

Продолжая озиаться, он не ответил. «Пришлось бы тебе поездить, — подумал он, — когда гостиницы повсюду осаждены Кавказом, так не спрашивала бы...».

— Не пугайтесь, — сказала девушка. — Угол — это когда сообща... А я — не сообща, — и засмеялась куда-то в глубь уходящим смехом.

Такого логова, как эта крохотная комнатка, Грибову видеть еще не приходилось. Узкое окно смотрело в близкую серую стену, и даже сейчас, в солнечный полдень горело электричество. Вдоль окна, прямо на полу, лежал грязный, сбитый в колбасу тюфяк. На тюфяке впереверт валялись чулки и дамские сапоги с завалившимися непомерно длинными голенищами. Пол — так, что ступить негде, усеян заколками, гребенками, гильзами губной помады. На стене, по обоям, губной же помадой и фломастером крупно и пьяно записанные телефонные номера... Почерки были явно разные.

— Так, выпьем? — сказала девушка. — Садитесь же. Где вам больше нравится?

Вечером у Грибова был поезд. На два дня он ехал домой.

— Ну? — повторила девушка.

Нынешняя семья Дмитрия Грибова состояла из него самого, жены и четырехлетней дочки. Раза два, а то и три в неделю Грибов звонил в Ленинград. К каждому звонку у него в нагрудном кармане лежал квадратик «памятки» — дабы в нужный момент не выскочило из головы то, что следовало с женой обсудить.

— Мы выпьем, наконец? — повторила девушка.

Много на небольшом столе стояло бутылок... Много, если не сказать множество.

Жена Грибова в браке была так же, как и он, второй раз. Грибов и Вероника, так звали его жену, всегда очень внимательно друг друга выслушивали. Грибову, пожалуй, следовало бы признаться, что за пять лет Вероника ни разу не поставила его в такое положение, когда ему пришлось бы врать.

— Чего мы ждем? — спросила девушка.

Вероника никогда от Грибова ничего не требовала, а уж что касалось его жизни в Москве, то что он об этой жизни расскажет — то и расскажет. «Но все же, где это я, — подумал он. — Вечером ведь ехать...».

Бутылки, одна красивей другой, стояли перед ним. Все из того магазина, куда Грибову доступа не было. Виски и так далее. Большинство было еще закупорено.

— А... — сказал Грибов. — И этот здесь!

Впереди других бутылок стоял плоский флакон английского сухого джина. На бело-красной его этикетке торжественно выступал вооруженный алебардой сверхсрочник, из тех, что ныне приглядывают за Тауэром: «мужик в красных кальсонах».

Не его, не Грибова были эти слова, потому он вслух их и не произнес. Он услышал их от той смуглой девочки, смуглей некуда, даже подмышки и те темные и гладкие, которая разорила Грибова когда-то, как ненужную, но случившуюся на пути завоевателя страну. Когда он узнал, что она выходит замуж за итальянца и увидел этого итальянца, Грибову показалось, что мир встал с ног на голову. Итальянец был стертый, позавчерашний, никакой. Такого рода сор выносит на пляж без всякой волны по ночам.

— Ты что? — сказал тогда Грибов своей смуглой девочке. — Да посмотри на себя.

А она как раз стояла у зеркала, закинув руки, и на ней ничего не было, и она смотрела на себя.

— Ладно, — ответила она. — Только без соплей. Что-нибудь придумаем.

И итальянец вскоре вернулся в Москву и зачем-то поселился тут, а она уехала в Рим и купила машину такого размера, что, по доходящим до Грибова слухам, не может ездить по узким переулкам.

Всякий был в своей прошлой жизни Грибов, всякий. Это теперь от газетных статей, где препарировалось нутро совершенно посторонних ему промыслов и афер, он вдруг стал просыпаться ночью, а раньше... Нет, прежнего Грибова эти записанные помадой телефонные номера, змеиной кожей скинутые сапоги и этот арсенальный набор бутылок ничуть бы не озадачили...

— Стоп, — сказал он себе. — Сначала бутылки.

— Откуда это у тебя? — спросил он. Накупивший таких бутылок — просто так, чтобы открывать их в подобной норе с первым попавшимся, — либо не знает, как зарабатываются деньги, либо вообще сумасшедший. «Либо, — подумал он, — спускает ворованное».

Там, на бульваре, Грибов внял «зову» вовсе не потому, что был уж так азартен до спиртного. Просто поддался смешноватой ситуации, когда его, тертого и неробкого мужика, заинтриговала «слету» случайно повстречавшаяся девчонка. Грибов посмотрел на стоящую перед ним батарею — пить расхотелось. Что-то тут было ему сильно неясно.

— Ты когда в последний раз ела? — спросил он.

Еды в комнате не замечалось.

— Да ладно вам заботиться, — засмеявшись и сразу же перестав смеяться, проговорила девушка. — Это, знаете ли... Немного запоздало.

Была она, верно, вдвое моложе его.

— Моя овчинка вашей выделки не стоит, — глядя сквозь Грибова, уверенно и тихо произнесла она. — Наливайте.

Между бутылок стояло несколько стаканов. Все грязные.

— Ну, наливайте же.

Завтра утром Вероника, которая никогда ни о чем у Грибова не допытывалась, ждала его в Ленинграде.

— Где вымыть? — спросил Грибов, беря в руки стаканы.

— Ах ты, чистюля... — девушка опять перешла на «ты». — Боишься? Так то, чего боишься, не смоешь. Вон там кран, — она кивнула на занавеску.

За занавеской оказалось продолжение квартиры — закуток, в котором находилась раковина с краном. Да еще две двери. Одна была защелкнута на задвижку, вторая — приоткрыта. Грибов нажал на приоткрытую носком ботинка — какая уж тут стеснительность? Дверь слегка скрипнула.

— Интересуешься? — спросила девушка.

Никаких объяснений, почему именно здесь нам показалось уместным вдруг вспомнить, что Москва имеет радиально-кольцевое построение, мы совершенно не готовы представить. Нет, не готовы. Нам лишь хотелось бы напомнить, что план Москвы схож с классической паутиной, и как тут не сделать следующего логического шажка: паутина-то раскидывается для чего?

Девятое столетие плетется эта центральная паутина и каждый век своими средствами. Сквозные дороги, соединяющие Кострому с Калугой, а Тверь с Рязанью, Смоленск с Владимиром, а Тулу с Ярославлем, — перехвачены были когда-то пряжкой Москвы; вокруг пряжки кольцами пошли крепостные стены, а к воротам взялись пристраиваться внимательные к кошельку путешественника монастыри — кто ж не помолится, прибыв, наконец, сквозь Муромские леса в стольный град? А уж, тем более, кто, не помолившись, за стены выйдет?

Кольца церквей и монастырских башен, кабаков и лавок дали давней Москве это обручечное, на сдавливание центра, построение, — а от тех пор и современные магистрали имеют в Москве тенденцию концентричности: бежать, не удаляясь, но и не приближаясь к центру. Эту тенденцию бульваров — кривить и кривить в одну сторону (на лошадях как бы слегка оттянутые в одну сторону удила, а позднее — слегка сбитый на сторону руль) повторяют потом кольцевые объездные дороги, а затем и объездная железная, и наши любимые «Аргументы и факты», еженедельник, правдивее и лаконичней которого только мы сами, недавно авторитетно сообщил, что, кроме известных всем, в Москве есть и еще две — не обозначенные на плане кольцевые бетонки.... Чем не паутина?

Хотя и это еще далеко не все...

IV

Комнатка, в которую заглянул Грибов, не имела с той, где стояли бутылки, ничего общего. Ковер на полу и огромная застеленная постель, вот и все. Белье на постели было подкрахмаленным — фарфоровой белизны. На него еще не только никто не ложился, но, казалось, что и расстилали-то едва касаясь. Уголки просторных наволочек лепестково выгибались. «Прямо Корбюзье крахмальный», — подумал Грибов. Отогнутое углом одеяло превращало постель в Действующее Лицо.

— Нагляделся? — спокойно спросила девушка.

— Нет, — ответил ей прежний Грибов.

— Любишь чистое белье? — еще спокойней спросила девушка.

— Я, например...

Она не договорила, а Грибов-прежний от этих ее слов схватил ртом воздух, а Грибов-нынешний продолжал тщательно тереть стаканы, отмывая чужие слюни. Наконец, стекло заскрипело под его пальцами.

— Ну, все, наконец? — спросила девушка.

— А кто здесь еще живет? — ставя стаканы на стол, спросил Грибов.

— Наливай!

— Так кто здесь живет, кроме тебя?

— Это ты насчет мужа?

— А ты замужем?

— Замужем.

— Где же он?

— Кто?

— Китайский император. Мы о ком говорим?

— А-а... Все боишься. Не бойся. Его здесь нет. И не было. Он сейчас вообще вроде не существует...

— Как это?

— А так. Существование его никаким документом подтверждено быть не может.

— Не понимаю.

— Сейчас.

Прислонившись к краю стола грудью, она сунула руку под стол и стала искать что-то глубоко спрятанное.

— Да где же это... Куда ж я задевала?

— Что?

— Да погодите вы... Куда ж я их дела?

Соскочила со стула, присела, запустила руку под стол до плеча. Наконец, нащарила то, что искала.

Перед Грибовым лежала стопка удостоверений. Не хотел бы Грибов, чтобы кто-нибудь с ним так пошутил.

— Ну, на машине-то и без бумажек ездить можно, — сказал он. — Если приспичит.

Не слушая Грибова, а отвечая чему-то в себе, девушка, глядя на документы, качала головой.

— А военный билет зачем?

— Какой? А... этот.

— Поссорились? — спросил он.

— Ну, ладно, — сказала она и, с явным отвращением подняв стакан, отпила. Отпила и поперхнулась.

— Что ты корчишь-то из себя, — сказал Грибов. — Паспорт она спрятала. Нужен он ему...

Девушка поперхнулась второй раз. Когда она закашлялась, Грибов довольно безжалостно ее разглядывал.

— Еще как нужен! — крикнула девушка. — Еще как! А тут еще пропуска. Ты видел куда?!

«Истеричка, — подумал Грибов. — Столичная истеричка, избалованная». Он опять посмотрел на стол, заставленный валютными бутылками. Ему стало скучно.

— А еще он ударил меня, — совсем другим, потухшим голосом сказала девушка.

— За что?

— Наверно... за все.

— За все не быют.

— За все не быют, — эхом ответила она. — За все... Убивают.

— Да ладно тебе! «Убивают»! Тоже мне, леди Макбет!

— Ну, как хотите, — сказала девушка. — Тогда за то, что я волосы обрезала.

— Семейка, — подумал он. Ему стало еще скучней.

— Вам хочется уйти? — еще тише, еле слышно спросила она. — У вас, наверное, уже нет времени?

И он с облегчением представил, как выйдет сейчас на солнечный веселый бульвар из этой, уже начинавшей его томить квартиры. И черт с ним, с тем сооружением, напоминающим чепец католической монашки, которое белело в соседней комнате. «Документы воровать?» — подумал Грибов. Даже если и не воровать, а только перепрятывать — в таких играх он участвовать не собирался.

— Ты что, здесь скрываешься? — стараясь скрыть растущее раздражение, спросил он.

— Почему «скрываюсь»? Я тут... нахожусь. Живу, видимо.

— И давно?

— Не очень.

— Ну, как это «не очень»? Сколько?

— Завтра — два месяца.

Два месяца! Ему-то показалось дня три, от силы четыре! Два месяца в такой берлоге? Он оглянулся на жуткий тюфяк, на исписанные телефонными номерами обои. Соседняя комната, зная, что о ней помнят, притаилась.

— А что дальше? Что ты собираешься делать?

Глядя ему прямо в глаза, девушка пожала плечами:

— Да бросьте вы... Очень вам это интересно.

И от того, как она это произнесла, Грибову стало не по себе. В прямом, никуда не ускользавшем ее взгляде было что-то такое, от чего Грибов стал судорожно соображать, как же быть дальше. Ему казалось, что выход ищет он только для нее.

— А родители? Родители у тебя есть?

— Есть.

«Вот и выход, — подумал он. — Побесится, покажет характер, отчего же его не показать?».

— Есть родители, есть... Мать и отчим. Легче стало?

Она прочитывала его мысли! И жернов какой-то опять надвинулся на него, налег.

— Вам, наверно, пора идти, — устало сказала девушка. На глазах она превращалась в другого человека.

— Как тебя зовут?

— Здрасьте. Что это вдруг?

— Как тебя звать?

— Зачем — вам? — останавливая на лице Грибова серые, спокойно-отчаянные глаза, сказала она. — Идите. Отпускаю.

— Как тебя зовут?

— Эк вам нейдет... Любой меня зовут. Лю-бовь, — и, вдруг усмехнувшись, добавила: — А когда-нибудь стала бы Любовью Васильевной.

— А зачем волосы обрезала?

— Да нужно, нужно это, — непонятно и убежденно ответила Люба. — Нужно. Хочу, чтобы поаккуратней. Нельзя же.

Грибову почудилось, что из области привычного они начали куда-то перемещаться, и там, куда они перемещались, туманный ее ответ, как это ни странно, был не лишен смысла.

— Что ты несешь... — пробормотал он.

Желая освободиться от того, что ему вдруг привиделось, он снова осмотрел комнату. Два месяца в такой берлоге? Да тут спятишь. Правда, среди следов недавнего разгула сама Люба выглядела инородно. Грибов потянулся к бутылке. Даже запах виски и тот казался коричнево-золотистым.

— А вы знаете, почему я к вам подошла? — вдруг спросила Люба. — Почему именно вас выбрала?

Вот, значит, как все оборачивается: его, оказывается, даже выбирали!

— Да, да, — торопливо сказала Люба. — Да. Этот, с палкой-то... он каждому, ну, просто каждому какую-нибудь пакость говорил. А я за ним иду. Ну, просто так, думаю, когда же хоть кто-нибудь... И — никто. А тут вы... Налейте-ка и мне!

Закусывать было абсолютно нечем. Грибов помахал рукой у себя перед носом.

V

Щекочущая, золотистая теплота расходилась в голове Грибова. Пульсирующая тишина, которая вслед за тем наступила, звала его, вроде бы, к действиям. Когда он положил руку на плечо Любе, Люба не отодвинулась, но плечо ее вздрогнуло.

— Не торопитесь, — сказала она, снова глядя ему в глаза — Я не обману. Просто... Не торопитесь.

А ему снова, когда он вспоминал все, что сегодня ему предстояло, стало ясно: пора, пора поворачивать на обратный курс. Но сам-то он уйти уже был не в силах, девушка эта, несмотря на ее загадки, занимала его все больше. А, может, именно из-за загадок?

— Ты знаешь, я ведь не москвич, — сказал Грибов.

— Да? — Люба была рассеяна. — Ну, и что?

— Я лишь временно здесь. Я приезжий, — сказал он, внимательней вглядываясь в ее лицо.

— Вы это говорите для чего-нибудь? Или просто так?

— Для чего-нибудь.

Уж он-то, сто раз гостивший в Москве, а сейчас уже несколько месяцев пристально разглядывавший москвичей, сделал такое заявление не случайно. Если перед тобой московские старики — то барьера с иногородним не возникает, старики лишь иногда сожалеют, что ты не можешь знать того-то и вот тому-то не был свидетелем; общаясь с москвичами своего возраста, Грибов тоже не испытывал трудностей — те вполне радушно принимали Грибова в свою среду, правда, неоговоренно, но уверенно предполагая, что рано или поздно Грибов несомненно найдет способ в Москву переселиться, поскольку вне Москвы сами себя не представляли и представлять не имели в виду; а вот особенную и почти единственную реакцию на человека без московской прописки выказывали именно девушки и молодые женщины. Потеря интереса — вот эта реакция. Иногда, правда, витал оттенок сожаления. Ах, мол, как все это глупо.

Сейчас Грибов ждал именно такого поворота. Отчуждение, он не стал бы сейчас искать его причин, поставило бы все на места.

Но отчуждения в глазах Любы не появилось.

— А вы молодец, — сказала она. — Молодец. Этого... на бульваре — отлаяли. Незнакомой девушке — ведь такой шалавой могла оказаться — доверились. С субботника на виду у всех ушли. Лопату — и ту бросили. Нет, молодец! — серьезно повторила она и, потянувшись, поерошила ему волосы. — Не любите, значит, чтобы кто-нибудь вами помыкал? Не позволяете?

Стакан виски действовал. Все предметы комнаты, как в диснеевском мультфильме, вдруг взялись Грибову что-то показывать. Подбоченились бутылки, принялась подмигивать и подглядывать замочная скважина, по-лакейски забормотал недозакрытый Грибовым кран. Между той жизнью, что запульсировала сейчас, здесь, и прошлым пролегла заколдованная лестница.

— А у вас ведь... не все хорошо, — сказала Люба.

— У меня? А что у меня должно быть... хорошо?

— Знаете, знаете, о чем я говорю. Знаете. Вы когда-то так любили, что вам было... все равно, нет, не то говорю — не все равно, а просто море по колено. А теперь совсем не так. Вам, вообще, чтобы заставить себя что-то сделать, надо внушить себе, что вас очень любят. А раньше... — Люба смотрела ему в глаза, вглядываясь то в один, то в другой, — раньше вы были... даже трудно себе представить!

— Что трудно представить?

— Ну, вы решительный были человек... Очень решительный! Оказывается...

Так и сказала — «оказывается». Будто там, куда она заглянула, кто-то отчетливо ее предложения подтвердил.

— Не надо было на ней жениться, — отводя от Грибова глаза, сказала Люба.

— На ком? — оторопело спросил Грибов.

— Вы же знаете — на ком. На той, которую так любили. Ничего не могло получиться. А вы еще были такой... ну, в жизни ничего не понимали...

Грибов теперь уже невольно ловил каждое ее слово.

— Хорошо еще, что вы никого тогда не убили, — посмотрев на него без улыбки, сказала она. — А ведь могли.

— Еще как мог, — подумал он. Но что же такое — он ведь, кажется, не сказал этой девчонке еще ни слова о тех временах... Впрочем, цыганские эти штучки известны — кому из мужиков под сорок не кажется, что у них была когда-то сводящая с ума любовь, что и в нем таятся вулканические силы, которые сейчас лишь дремлют... Что в такой пронизательности поражающего?

— Она потом спилась? — спросила Люба.

Грибов посмотрел на нее дико.

— Или что-то вроде... еще не понимаю, — сказала, продолжая глядеть на него, Люба. — В общем, счастливы были, что ноги унесли...

Да нет, тут уж она ошибалась — счастлив он тогда не был. Можно даже сказать, что от него вообще тогда мало что зависело. Но рассказывать о себе Грибов был не склонен. Хотя она и нащупала в его прошлом, притом как-то, почти сразу, то именно, в чем до сих пор не мог разобраться он сам.

...Той зимой факультет Грибова перевели во дворец; вместо столовой у них был овальный зал с порфированной колоннадой, а командиром роты назначили татарина, который ночевал в училище и спал по четыре часа в сутки. Грибов помнил, что, когда надо было для чего-нибудь обратиться к командиру роты, тельняшка прилипала к спине.

Роту ввели в тот день в овальную столовую, и все уже разошлись по своим местам и вытянулись у столиков, ожидая команды — сесть, когда Грибов увидел, что под его вилкой лежит письмо. Он сразу же взял письмо и, разорвав конверт, начал читать, а потому пропустил команду и продолжал читать стоя. За одно то, что он не выполнил общей команды, Грибову пошел крутиться счетчик, но он так и не сел, а еще не дочитав, держа перед собой письмо, пошел прямо на выход и прошел, как потом ему говорили, сквозь свой столик, сквозь соседний и сквозь командира роты. И тот, почему-то с готовностью, посторонился. Надя сообщала в письме, что встретила «другого человека», с которым у нее «все по-настоящему».

— Как странно, — думал Грибов. То целенаправленное сумасшествие он мог вспомнить лишь, как череду каких-то действий, без сопутствующих ощущений, но ревность лежала, свернувшись, все еще живым клубком, и треугольная головка ее смотрела на Грибова похожими на стеклянные глазами...

— Налейте, — приказала девушка. А то что-то ни вы, ни я...

— Да нет, — сказал он. — Все в порядке. У меня все как нужно.

VI

Дмитрий Грибов никогда, даже в юные годы, не чувствовал себя студентом и стать им, когда подобралось под сорок, уже не получалось. Может, что и могло еще в жизни успеться, да только, он понял, не это. Половину лекций на своих курсах он, правда, отсиживал, и многое из этих лекций оказывалось ему даже интересным, но конспектировать чужие мысли Грибов был уже не в состоянии. Никто другой, будь он хоть трижды гений, уже не мог Грибова ни в чем наставить. Притвориться студентом было можно, стать — не выходило. А раз так, то и все вторичные признаки студенчества — общежитие, общежитские нравы, еда по столовкам, необязательность, дурацкие клички — воспринимались теперь Грибовым, как дань общему заблуждению или, точнее, игре — поскольку Грибов полагал, что многие из его сокурсников, если не все, чувствуют то же, что чувствует он. И комната в общежитии томила Грибова, и вахтерша внизу (любая вахтерша) вызывала бешенство, просто как субстанция, а нравы — эта запростецкая якобы простота: все на «ты» и никаких церемоний — лезь без стука до трех ночи в любую дверь, — ничего не упрощали, а лишь запутывали. Согласившись, даже временно, на такую жизнь, Грибов со все растущей неприязнью смотрел на себя в зеркало.

— Наплюй, — по-бабы глядя ему в глаза, сказала девушка. — Неважно это все!

И тут откуда-то взялась музыка, музыка возникла именно в тот момент, когда он всего-навсего положил руку на плечо Любы.

Кто из нас не вспомнит эти странные танцы, когда танцуют лишь двое? Дурацки, должно быть, это выглядит со стороны, но, братцы, для кого мы танцуем? Не для себя разве? Грибов и девушка танцевали, а уж какой это был танец, такой и был. Танец увел их из логова с бутылками и тюфяком. Потанцевав немного в коридорчике, около раковины с краном, из которого продолжало неодобрительно шипеть, они, не прекращая танцевать, довернули кран — пальцы сплелись — и протанцевали, совсем уже медленно, в другую комнату. Несколько помедлив, Грибов шагнул к окошку и взялся за штору. Перед окном, так же, как и в соседней комнате, была серая, близко стоящая стена. На самом верху видимой из окна ее части дрожало бледное пятно отраженного форточкой солнца. И Грибов вспомнил, что в Москве — полдень, вся Москва еще на субботнике. И их курсы тоже. «Твои замечательные идиотские курсы, — подумал Грибов. — Полтора́ста рублей в месяц и ощущение, что ты совершенный никто. Но раз никто, так нечего было и задумываться».

Грибов дернул штору, и кольца брякнули.

Глядя Грибову прямо в глаза, девушка медленно снимала с себя одежду. «Совсем не загорелая, — подумал он, — хотя какой же загар в апреле?». И вовсе не то, что можно было бы назвать жадой обладания, ворохнулось в нем. Родственность? Или жалость? Он и поцеловал ее, можно сказать, чуть дыша. Не из благоговения, понятно, чуть дыша, а так, по обстановке.

То, что она так легко раздевалась, словно делала это при нем не только не в первый, но даже не в пятый раз, Грибова слегка озадачило, хотя и никак против нее не повернуло. Кто в нынешней жизни может сказать, что знает — что и когда пора?

Обхватив себя накрест руками, девушка, ясно улыбаясь, стояла перед Грибовым.

— Моцарт, — совершенно не мотивированно произнес Грибов.

Когда она прижалась к нему, он почувствовал, что все ее тело мелко сотрясает смех.

— Совсем меня не боишься?

— Вас? — она продолжала смеяться мелким, беззвучным смехом. — Вас? Да бросьте вы... — оборвав смех, опять с какой-то всезнающей силой, как там, на бульваре, сказала она. — Чего мне теперь бояться? Вас? Тебя? Вот их — другое дело. Да и то...

— Кого? — спросил он.

— Ну, их. Их.

И тут в дверь, которая вела в коридорчик и которая была закрыта на задвижку, раздался стук. Грибов дернулся, вздрогнула и прижавшаяся к нему Люба. Стук повторился.

— Кто это? — одними губами спросил Грибов.

— Хозяйка... — Люба тоже отвечала одними губами.

Стук повторился. За дверью раздавалось какое-то кряхтение, дверь стали дергать. Плечи Любы одеревенели.

— Что вам нужно? — громко спросила она.

— Открой! — сквозь кряхтение произнес старушечий резкий голос.

Грибов разжал руки. Люба отступила от него, машинально сняла со спинки стула платье. У двери она остановилась, видимо, спохватившись о Грибове, и оглянулась: мол, не бойся.

Дверь продолжали дергать:

— Открой!

— Не могу я вам сейчас открыть.

— Чего там не можешь-то? Открой!

— Не могу... Сказала ведь вам.

Опять кряхтение.

— Мало что сказала... Мне посмотреть надо.

— Что смотреть?

— Да ты чего там? Кто у тебя?

Опять кряхтение, опять рывки.

— Да нет, нет же, не открою, — ровно и окончательно произнесла Люба.

Сквозь кряхтение слышались угрозы, ругань.

— Что хотите, то и делайте, — сказала Люба. — Не открою.

Когда Грибов снова прижал ее к себе, он почувствовал, что она дрожит.

Успевшая за полтора часа раз пять поменять в сознании Грибова представление о себе, она неподвижно лежала рядом. «Нет, — подумал Грибов, — мы так не умеем». Но что за загадки? Чем больше циничного и мрачного наворачивалось вокруг, тем ближе казалась ему эта девушка.

Старуха за дверью не унималась.

— Теперь целый час будет стучать, — прошептала Люба.

— Ну, ничего... Хоть поговорим.

Грибов усмехнулся и почувствовал, как она, еще тесней прижавшись, усмехнулась тоже. Или всхлипнула?

— В той комнате твои сапоги? — спросил Грибов.

— Ну, мои...

— А помада, чулки? То, что набросано? Твое? Чего молчишь?

— Мое, чье же еще...

— В театре не работала?

— В каком театре?

— «В каком»! — передразнил Грибов. — В балете на льду! Для кого эти декорации?

Люба молчала.

— Ну, для кого? Тюфяк этот, бутылок наставила, телефоны помадой писала... Половина, кстати, липовых.

— Почему это липовых?

— А потому что нет в Москве таких.

— Да? — озадачилась Люба. — Интересно... Что вы еще заметили?

— Да одно только: что ты кому-то хотела показать, будто живешь в сплошном загуле. Кому?

— Вам.

— Ладно, — сказал Грибов. — Это и так понятно. Кому-то, кого давно знаешь.

Теперь уже ее потемневшие в полутьме глаза смотрели на Грибова почти с испугом. Он тоже, выходит, мог ей кое-что о ней же рассказать.

— В одной школе учились? — спросил Грибов. — Да? Или даже в одном классе? И тебе казалось, что уж на кого, на кого, а на него-то ты сможешь положиться всегда? Кругом все рухнуло — а этот стоит, ждет. Потому что цель его жизни — ждать тебя. Так?

Люба отвела глаза.

— Он в очках? — спросил Грибов. — И такой талантливый, что почти ничего не зарабатывает?

Люба громко всхлипнула от смеха и, будто в ответ ей, дверь с той стороны опять дернули.

И Грибов, опять обнявший совершенно незнакомую, но уже такую близкую ему девушку, подумал, и уже с досадой, что нет, ничего, значит, не выйдет. И знаменитый южноамериканский роман, в котором герой и героиня где угодно, хоть в луже кислоты, но любую встречу заканчивают одним и тем же — этот роман не о нас. Во всяком случае, пока кто-то с той стороны трясет дверь.

Оставалось только говорить. Да и то почти шепотом.

— Вот ты... — говорил Грибов. — Поскольку, как я понимаю, ты коренная москвичка...

И Люба приладилась, притулилась к нему, задышала спокойно. У Грибова было ощущение, что они знают друг друга всю жизнь. А потом он все-таки замолчал, и она совсем затаила дыхание, потому что за дверью, с той стороны, кто-то продолжал стоять. Люба замотала головой.

— Они точно, точно меня ищут, — прошептала она. — Вот я прямо как знаю...

— Да кто «они»?

Люба прижалась еще тесней, хотя куда уж...

— Может, все-таки скажешь?

— У них там все время что-то затевается... — шептала Люба. — Им машина нужна. И документы...

— Что тебе грозит, если тебя найдут?

— Не знаю... Но теперь они точно знают, что я... Что от меня...

— И среди них — твой муж?

Люба кивнула.

— Что же они такое все-таки делают? — спросил Грибов.

— Лучше бы мне этого не знать.

Странное ощущение владело Грибовым. Минуты, когда он трезво понимал, что подзалетел в приключение, которое, как ни поворачивай, кончится сегодня же, сменялись другими, похожими на провалы памяти — провалы эти становились все более длинными, и он выныривал из них со все большей неохотой. В провалах же этих ему мерещилось, что девушку Любу он знает всю жизнь и вся его жизнь с ней связана. «А, может, это у меня всегда так, опять на самом краю, прежде, чем полететь в провал», — подумал Грибов. Он открыл глаза и увидел окно, штору, одеяло...

— Это лучше не знать, — шептала девушка. — Но я-то уже знаю. И они знают, что я знаю.

— Ничего не понимаю, — сказал Грибов.

— Вот мне бы так... Вот я сегодня...

«Что такое сегодня? — думал Грибов. — Где я?». И вдруг, наперекор всем здравым соображениям скептического человека, наперекор всем сомнительным, а если поразмыслить, так и более, чем сомнительным открытиям двух последних часов, в Грибове родилась радость просто оттого, что с ним рядом эта девушка. Он больше ничего не боялся.

— Ну, что?.. что?! — спросила Люба и стала задыхаться.

Да понимал Грибов! Все он понимал — что причины его радости просты так, что проще некуда: так молода, так хороша, и ничего не требует взамен...

— Что?.. Что?!.. Что?! — спрашивала его Люба. — Ну, что же?!.. Что ты хочешь... Послушай... нет, послушай меня!

А их поезд уже летел, и все, что было в мире, состояло из перестука колес на каких-то невидимых и все быстрее набегающих стыках. Все дальше и дальше в темноту, все быстрее и быстрее к гибели, и столкновение уже неизбежно, вот вдали уже блеснул световой блик; это фонарь несущегося навстречу, вот красные кольца и желтые нимбы, как в сунувшемся в прожектор объективе, и световая стена вспышки, но это не встречный, это мы вылетели из тоннеля прямо в небо, и оборвался вместе

с тоннелем грохот... И нет никакого поезда, есть лишь тишина, и звук капель, падающих в раковину, и легкая испарина, и собственная, кажущаяся теперь неловкой, тяжесть.

— Ну, привет... — будто даже слегка удивленно, прошептала Люба.

Грибов лежал лицом в подушку.

— Надо бы, наверно, что-то предпринять... — прошептала Люба.

— А? — сказал Грибов. — Что?

Но она только слабо махнула рукой.

А то, что он хотел бы ей сказать, что сказать был должен, и чего она, как он был уверен, просто не могла сама не почувствовать, как раз произнести-то он и не мог. Произнести — означало разрушить. Грибов был так устроен, что признаться в испытываемом счастье или даже радости для него было невозможно. Это было равносильно такой степени фальши, на которую вещество, из которого состоял Грибов, способно не было.

— Не говори, — прошептала Люба. — Хочешь, я скажу?

Он повернул к ней лицо.

— Это наверно... Как это называется? Наваждение? Мне, знаешь, что кажется? Что мы давно муж и жена...

«Почему я так устроен, — думал Грибов, — я ведь хотел бы закричать ей, что чувствую то же самое, что плачу сейчас, плачу от счастья, но глаза у меня сухие. Кто я такой? Зачем мне всегда нужно скрывать от всех и от себя то, что я чувствую?».

— Мне мерещится, — сказала девушка, — что у нас с тобой так давно... что мы так давно... Ну, что все уже было. Все-все было...

— И дети, — в тон ей, но словно поддразнивая, иначе не мог, сказал он.

— И дети... Несколько... Ну, в общем, не один... И мы сейчас прилетели куда-то... Мы не дома, но у нас общие дела где-то в другом месте, а здесь мы лишь потому...

В дверь опять застучали. Голосов за дверью теперь было два, в подмогу к старухиному бурчал сильный мужской — хозяин этого голоса уже хорошо «принял». Топтались тяжелые башмаки.

— Лежи, — прошептала Люба.

Ввязываться? Грибов представил себе диалог, который наверняка последует.

— По-моему, лучше уйти, — сказал он.

— Куда?

— Ну, куда-нибудь, какая разница.

Люба с минуту лежала неподвижно.

— А куда все-таки?

— Сообразим.
— И там ты оставишь меня одну?
— Оставлю.
И жалко вдруг так ее стало!
— В лес заведу и брошу, — сказал он.

Она еще помедлила.

— Ну, ладно, — сказала она. — Тогда я мигом.
Они стояли уже в дверях, когда старуха завопила в голос:
— Лю-бка! погоди! Уходишь! Погодь, говорю!
— Да что вам, наконец, надо?
— Открой!
— Пойдемте, — сказала Люба.

И тот, за дверь, подбубнил что-то.

VII

Еще из подворотни Грибов посмотрел сквозь прутья на бульвар — никого из знакомых там, понятно, уже не было. Он первым протиснулся в лаз, еще раз осмотрелся и, когда обернулся, увидел глаза Любы. Она еще стояла за чугунной решеткой закрытых ворот и ждала. Грибов протянул руку.

— Вылезай!

Как просияло ее лицо! Будто не разреши он ей вылезти, она так бы там и осталась.

Поглядывая на него, она пошла рядом, и в гуле Москвы, который сразу же накинудся на них, ее каблучков почти не стало слышно.

Как, однако, все было странно. Несколько минут назад Грибов сам, пытаясь зацепиться за пережитое, нашел одно лишь слово — счастье. И вот уже легкая усталость и легкая лень, и какие там крылья? Как недолго, можно даже сказать, — быстро! Кожа его еще хранила ощущение... «Да, быстро как-то», — подумал Грибов. Столь поразившее его ощущение радостной ясности уже растворялось, разлеталось дымом, и вот уже — он отчетливо заметил этот момент, начало заменяться беспокойством.

А дело было в том, что они приближались к учебному заведению курсов. И хотя Елена Петровна сама, собственно, и санкционировала отлучку Грибова в Ленинград, но одно дело, он это очень чувствовал, уехать, проведя весь день по курсовому распорядку, и совершенно иначе все выглядит, если бы он, скрывшись на виду у сокурсников в проломе закрытых на замок ворот, вслед за незнакомой девушкой, затем обнаружился бы только дня через три...

Желая сейчас же показать себя всему курсу, Грибов понимал, что отдает дань той самой невзрослости, которую так хочет вытравить из себя, но... Можно ли от людей требовать того, чтобы они следовали своим же правилам неукоснительно? Ему нужно,

просто необходимо, показаться Елене Петровне. Пусть она поставит мысленно «птичку»: вот, мол, он здесь; он жив и здоров, и теперь именно она его отпускает. Но с каким лицом он сейчас там появится? Впрочем, как и большая часть мужчин, Грибов не стыдился, если дело касалось женщин, ничего того, что бы говорило о его ветренности или о безрассудстве. Он бы, правда, назвал это живостью или, может, даже лихостью... И потому, зная, что может встретить сейчас Елену Петровну, ощущал разве что легкую и отнюдь не обременительную, а даже несколько довольную собой виноватость. И, подходя к зданию курсов, Грибов замедлил шаги.

— Послушай...

— Да, да.

— Я хотел сказать, что мне здесь нужно...

— Я понимаю. У вас дела. Вы вспомнили. Вас не ждать?

— Ну, что ты такое говоришь! — воскликнул он, уже понимая, как хорошо было бы войти сейчас в это здание, поставив на своем приключении точку. — Да вернусь я! Вернусь! — раздраженно сказал он. — Ну, что ты действительно?

Люба ничего не ответила и только указала на скамейку, которая стояла в сквере, разбитом прямо перед подъездом.

— Ну, здесь, здесь конечно! — ответил Грибов, думая о том, что только этого ему и не хватало. Все ведь видели, кто увел его с бульвара. Люба еще раз посмотрела на Грибова, губы ее почему-то поползли, искривились, и Грибов вошел в тяжелые двери.

Елена Петровна и проректор курсов в преподавательской комнате уютно пили чай. Проректор, давно сошедший с круга позапрошлых времен технический лауреатик, слушателей своих почти не видел; заходя на курсы лишь изредка, он крался почему-то вдоль стен, жмурясь и упоенно прижимая к губам палец. Если же кто-то, случайно встретив его, останавливался, лауреатик из бывших приходил в тихое умиление и, так как ростом был невелик, пригибал подошедшего к себе и гладил по голове, приговаривая: «Ах, ты мой эстончик...» или «Ах, ты мой армянчик...».

Можно с уверенностью сказать, что никто и никогда не предписывал Елене Петровне скрывать чаепития и даже ограничений в этом скромном и приличном занятии чинить не собирался. Однако чайник Елена Петровна норовила все время прятать, а мисочка с вареньем стояла у нее почему-то в выдвинутом ящике письменного стола.

Лекций в этот день из-за газонов не было, день был полурбочий, и все-таки Елена Петровна и проректор, когда Грибов постучался в дверь, явно всполошились. Но, увидев

Грибова, Елена Петровна сразу же забыла о чайной конспирации.

— А...а! Это вы?

Тут было все. И жгучий интерес, и чуть-чуть презрения, и законное право на любопытство.

— Что скажете?

— А что бы вы хотели? — довольно развязно от неловкости произнес Грибов. — Ну, как тут у вас? Все в порядке?

— Если и в порядке, то не благодаря вам, — поджав губы, отпарировала Елена Петровна. — Ему поручали... — повернувшись к проректору, начала она, но тут же передумала. — Ну, так что, Грибов? Кстати, где ваша лопата?

— Лопата?

— Ну, да, лопата. Куда вы ее дели? — явно испытывая большое удовольствие от того, что Грибов ненормален до такой степени, что не может даже вспомнить, куда дел такой крупный предмет, повторила Елена Петровна.

Грибов Вынул три рубля.

— А при чем здесь деньги? — воскликнула Елена Петровна. — Их, между прочим, дают вам для того, чтобы ваша семья во время вашего обучения не испытывала...

— А знаете, — Грибов вдруг рассмеялся, — я с курсов-то ваших, наверно, уйду.

— Как? — сразу забыв о лопате, воскликнула Елена Петровна. — Что значит с «ваших»? Как это «уйду»? Николай Васильевич, что это он? Да кто вам позволит?!

Теперь Грибов разрешил себе еще и ухмыльнуться. Уйти можно было в любой момент — никто не держал, напротив, на курсы рвались.

— Когда это вы такую глупость удумали? — подозрительно спросила Елена Петровна. — Давно?

— Сразу, как поступил.

Минуту назад он еще сам бы поразился такому своему ответу, но сейчас не желал ни от кого зависеть. А проректор вдруг вскочил, сонные глазки его ожили (может, вспомнил себя еще живого) и так как ростом был сильно ниже Грибова, пригнул того к себе и погладил по голове:

— Морячок ты мой, морячок...

Глаза проректора заблестели слезой, и Грибов вспомнил, как однажды в густых сумерках проходными дворами шел нечаянно за проректором, который, видимо, просто гулял, не подозревая, что кто-то из знакомых может его увидеть. И как проректор остановился у мусорных баков и внимательно стал рассматривать какую-то коробку, даже взял ее в руки. Интересного в мусоре было, должно быть, немало, потому что, выронив коробку,

проректор стал все проворнее ворошить кучу ботинком, нагибался, подбирал что-то, снова бросал... и вдруг стал насвистывать. И остановившийся в отдалении Грибов тогда тихо попятился, боясь испугнуть этого маленького человечка, которого каждый день заставляли быть не самим собой...

— Морячок ты мой, морячок... — умиленно бормотал проректор.

— Да он шутит, шутит... — продолжая глядеть на Грибова, как на больного, но больного пока еще в легкой форме, сказала Елена Петровна. — В Ленинграде, небось, что-нибудь не так? Да? — И, найдя для себя решение, добавила: — Ну, не будем, не будем сейчас... Поезжайте, Грибов. А здесь мы уж как-нибудь постараемся без вас обойтись...

— Да уж постарайтесь, — весело и хамски разрешил Грибов.

«А вдруг она уже ушла? — подумал он. — Не дождалась, ушла, и больше ее не найти?». Только что, кажется, он почти этого хотел, а тут чуть не задохнулся...

VIII

Любы в скверике не было.

Грибов огляделся. Спряталась? Ушла? Тонкая игла, такая тонкая, что укола Грибов поначалу почти не ощутил, входила в него все глубже. Он двинулся из скверика на бульвар. Шумел город, неслись машины, Грибов посмотрел вдоль домов в одну сторону, в другую — вдали мелькнуло светлое пятно женского плаща. Грибов заспешил, обгоняя пешеходов, почти побежал. Через сотню шагов он понял, что ошибся — ее рост, но не ее походка. Обманывая себя, будто толком не помнит, как она выглядит, он еще некоторое время догонял. Затем вернулся к воротам курсов.

Люба сидела на бульварной скамейке, отгороженная от Грибова потоком машин, чугунной оградкой и вскопанными газонами, в обществе каких-то двух мужиков. Грибов пригляделся. Оба были с его потока.

— Ах, негодяи! — громко и счастливо сказал Грибов.

Наверно эти двое видели, как Грибов мечется, да и Люба, конечно, тоже. Во всяком случае могла бы.

— Ах, мерзавцы, — еще громче сказал Грибов. — Уже.

Машины неслись без перерыва, никак ему было не перейти. А эти двое что-то все говорили, говорили Любе, использовали каждую секунду, пока он не подошел к скамейке. Тогда только оба встали и, подмигнув Грибову, удалились.

— Сядьте, — сказала Люба. С ее лица стекала улыбка. — Друзья, что ли, ваши? То-то легко приземлились...

— Да они, должно быть, видели тебя... утром, — сказал

Грибов. Он чувствовал, что за эти двадцать минут они с Любой опять разбежались.

— Сядьте, — повторила Люба. — Вы, наверное... — она помедлила. — Я вижу — у вас все хорошо...

— Дядя, хотите печенинку? Бабушка говорит...

Перед Грибовым стояла девочка в расстегнутом коротком пальтишке. Ей было года четыре.

— Я? — спросил Грибов. — Ты мне? — и подумал, что вот он — тот божественный возраст, от которого веет пушкинской свободой.

Девочка кивнула и, вдруг сразу забыв о Грибове, подпрыгивая, побежала по аллее. Грибов посмотрел в одну сторону, в другую — моложавые бабушки сидели по всем скамейкам до горизонта, как в фильмах Феллини.

Целый день он не вспоминал о дочке. Он не вспоминал о ней и сейчас, вернее, вспомнил, но для того только, чтобы отметить, что не вспоминал. Грибов знал, что, живя сейчас в Москве, он пропускает лучшие отцовские месяцы, но разве особенную, почти болезненную привязанность клонящиеся к пожилому возрасту отцы испытывают не к дочкам — уже подрастающим и подросшим? Ведь когда Грибову будет пятьдесят, его дочери исполнится семнадцать. И тогда, утешительная мысль, общие для всех естественные процессы сами заставят его отдать нынешние долги... Пятьдесят... Неужели он когда-нибудь будет таким старым?

— Нет, нет, не люблю рестораны, — запротестовала Люба. — Обман. И очень дорого. Не хочу... А вы? В шашлычную? Тут можно — дворами...

В шашлычной не было шашлыков, а было одно единственное блюдо, но блюдо так уж блюдо — золотисто-багровое мясо, прямо олень какой-то от Робина Гуда. И острые ножи, и кофе в мельхиоровом кофейнике, и кофейник с домашней вмятинкой...

— Ну редкость, — сказал Грибов, — такая же, как...

— Как я, — без улыбки сказала Люба.

И опять та тончайшая игла сладко вошла в него.

Это слышался откуда-то длинный — смычок все полз и полз, доводя до хриплого рыдания струну, — стон скрипки.

— Днем? Скрипка?

— Да у них тут... — она пальцем покрутила в воздухе, наверное, магнитофон.

— А как живое... — сказал Грибов.

Цены оказались непомерные, но и это Грибову понравилось: захотелось за все платить.

На улице еще больше потеплело. В одном переулке, только что

тихом, над самыми их головами вдруг пронеслось облако воробьев, которое тут же застряло в густом голом дереве. Неистовый щебет оглушил их.

— Давай поцелуемся, — сказала Люба.

IX

На выставке Подарков, растопырив локти и отталкивая друг друга, выпячивались «шедевры».

— Нравится? — побродив по залу, спросил Грибов.

— Нет.

«Странно, — подумал он. — Но мне ведь тоже не нравится».

— Почему? — спросил он.

— Винегрет, — сказала Люба. — Все кучей.

«А и верно», — подумал он. Перед ними была живопись, но так далеко и в такие разные стороны были разбросаны именитые имена, что, казалось, попал в краеведческий музей. Тут тебе и ракушки из докембрия, тут тебе и галстук первого пионера.

— Так не нравится?

— Да нет же. Нет.

И сказала так твердо, что Грибову показалось, будто они вместе это сказали и Люба несомненно знает, что говорит за двоих.

— Слушай, — вдруг догадался Грибов, — ты не потому от него ушла, что он тебя ударил.

— Не потому.

— А почему?

Но Люба только теснее прижала его руку.

— Ты скажешь мне?

— Для чего?

И прижалась еще тесней. Так они и вышли на улицу. Сейчас не Грибов ее вел, а она куда-то его вела, явно что-то отыскивая. Отняв свою руку от его, она подошла к милиционеру и спросила о чем-то. Тот рассеянно мотнул головой.

— Может, я знаю? — сказал Грибов.

— Не знаешь. Я вон у того спрошу...

Но и этот не смог ей ответить. Грибов с Любой запетляли по переулкам. Наконец она нашла то, что искала. На стене дома висел плоский железный ящик с надписью «Для найденных документов». Вынув из сумки знакомую Грибову стопку, Люба по одному перекидала удостоверения в щель. Покидала и отряхнула руки.

— Зачем же... — сказал он.

«Какой был смысл, — хотел он сказать, — прятать эти документы, если так легко их возвращать?».

— Боюсь, — прошептала Люба. — Слушай, я боюсь...

На Москву опускался весенний вечер. Воздух совсем затих, становилось прохладней.

— Я когда поняла, что это их рук дело, думаю — все... живу последний день. Но напоследок и я вам что-нибудь сделаю... А что я могу? Вот схватила, что под руку попало. Нельзя же, чтобы они вот так вот — как хотят... А выходит — даже так — и то не могу...

— Да ты скажи все-таки, в чем дело?

Но Люба его как будто не слышала. И вдруг заспешила, словно боялась, что не успеет сказать...

— Он все приезжал, все цветы носил. В месяц по две командировки. И обязательно к нам в лабораторию. Все шуточки, цветочки. И каждый раз: «Замуж не желаете?» А тут у нас тема пошла — с меркаптанами. Вонь стоит, никакая вытяжка не берет. И он опять приезжает: «Замуж не хотите?» А я только что со всеми переругалась, и от злости — ему: «Хочу!». Глупо, а уже вроде пообещала. Ну, он такое завертел — за месяц и свадьбу, и прописался, и перевод оформил в Москву: все. А я будто со стороны смотрю. Вроде бы и ничего — живой такой, веселый. Раз прихожу, а дома чурбан стоит, и в него секач воткнут. Здоровенный — вот такой. «Зачем?» — спрашиваю. «Надо» — говорит. Под чурбан подушку подложил и давай спички рубить. Сначала поперек рубил — чтобы точно пополам, потом, смотрю, уже вдоль рубит. Глаз, говорит, точности учу. Идеально, говорит, чтобы получалось — на волокна. Недели две рубил, я понять ничего не могу — хрясь да хрясь. Вдруг сообщает: из инженеров ушел, работает мясником... Я, как услышала, будто в голове что-то лопнуло — ору, остановиться не могу, а он так спокойненько, слушал, слушал, я даже заметить не успела, как размахнулся. А потом сижу на полу, и он меня за подбородок держит. И они сзади стоят...

— Кто?

— Мать и отчим. Тут только и поняла, что они все — вместе. И я им — как кость в горле.

— В каком смысле «вместе»?

— Да в прямом. Он уже теперь не мясник, он в таможене теперь... Ох, у него глаз... Ох, глаз!

— А мать? — спросил Грибов.

— Во «Внешторге». Бо-ольшой человек...

— А отчим?

— А отчим — завбазой, тоже «в системе». Они с матерью не зарегистрированы, им так, наверно, удобней. Поэтому считается, что у нас — коммуналка. А ты послушал бы, как у нас дома по телефону говорят! Агата Кристи от зависти бы здохла...

А посмотрел бы, что приносят! Что уносят! Что у нас лежит, стоит, ждет, пока за этим придут...

— Бутылки имеешь в виду?

— Бутылки!? — хохотнула Люба. — Ты прямо ребенок! Бутылки! Это у нас так, семечки, и не заметили, что я что-то прихватила...

— Ну, а документы?

— Документы... Да, это — дело другое. Но и то ерунда. Новые, наверно, уже купили. Отчим один раз не удержался, хвастнул при мне: ему в ГАИ пропуск выписали, по которому под закрытые шлагбаумы можно ездить. Представляешь?

— Ты ври, да меру знай, — сказал Грибов. — Не бывает таких пропусков.

— Ну, ты и ребенок, — повторила Люба. — «Не бывает»! Много ты знаешь. Это же Москва! Москва, понял? Тут все бывает...

Х

Люба долго шла молча и не отвечала ему, потом вдруг остановилась.

— Слушай, они человека убили.

— Как это «убили»? Кто?

— Не знаю. Не знаю, кто именно.

— А кого... убили?

— Да девчонку одну. Она отношение к их магазинам имела.

— Точно знаешь, что убили?

Люба кивнула головой и оглянулась.

— А ты ее знала?

— Видела несколько раз. Разговаривала. Она по каким-то делам приходила к нам домой. А потом узнаю — пропала.

— Как это произошло?

— Да очень просто. Был телефонный звонок, куда-то ее позвали. Ушла — и все. И никто ничего не знает.

— А почему ты решила, что убили?

— Да нашли ее. Под снегом. У кольцевой дороги. Я думаю, это он меня предупреждал.

— Тебя? Почему?

— А у нас до открытой войны дошло. Я ему перед тем как-то сказала: «Жди ОБХСС, сволочь». Вот тогда-то он меня так ударил, что я вообще еле в себя пришла. Щека, глаз — все черное было.

— Будешь что-нибудь предпринимать? — спросил Грибов и остановился. И Люба остановилась.

— Не буду.

— Испугалась?

— Испугалась.

— Или дело в другом?

— Или в другом,— так же покорно согласилась она.

— А в чем тогда?

— Посмотри вокруг.

— Ну, смотрю. Что дальше?

Люба только махнула рукой.

— [Чего машешь?

— Да ничего. Они кругом, разве не видишь? И никто их не ловит... Ни их и никого другого. У нас драка во дворе была, двое держат, третий бьет... Я — к телефону, звоню в милицию... Знаешь, что мне ответили? «У нас сейчас машины нет, так что вы их сами пока задержите».

— Хочешь, вместе пойдем? — спросил Грибов.

— Ой, да перестань ты! — опять, как утром, резко и прямо сказала Люба. — Ничего, ничего я не хочу. Ничего.

— А что ты тогда на меня так смотришь?

— Да никак я не смотрю.

И опять они некоторое время шли молча.

— А как это у тебя с матерью так?

— С матерью-то? А ничего другого никогда и не было. У меня одна жизнь, у нее другая. Она раньше все по каким-то нашим городкам за границей жила — то под Берлином, то под Александрией, то — в Йемене. Я даже не знаю, кто мой отец.

«Что ни спроси,— подумал Грибов,— все к месту».

— Ну, а как ты дальше?.. Надо ведь что-то придумывать?

Люба устало отвернулась.

— Когда ваш поезд? — спросила она.

И то ли сумерки надвигались — и потому на лицах стали видны тени, то ли за эти часы осунулось ее лицо... Когда он представил себе ее на лестнице сейчас с забитыми дверями, ему стало не по себе.

— Когда ваш поезд?

— Да провожу я тебя,— сказал он,— провожу.

А сумерки ложились все гуще, и шаги Любы, казалось, удлинились, замедлились, но девушка, Грибов это невольно отметил, двигалась как-то совершенно отдельно от него. Они шли боковыми узкими улицами, и машины, еще не зажигая подфарников, высовывали носы из переулков, а затем, фырча, улетали дальше, как большие жуки, оставляя улицу человеческим звукам — стуку дверей, детским возгласам, звуку шагов.

— А ведь так и должно быть,— думал Грибов,— что первыми отзываются на отмену строгостей именно мошенники. Острое чутье, гипертрофированный нюх, авантюризм...

К тому, что под конец Люба о своих делах ему сообщила, Грибов отнесся, вообще говоря, никак. Дело требовало прямых действий, а что он мог сделать? Как участвовать? Да Грибов и понимал, что она его участия не допустит. Может, в какой-то момент и ждала, да прошел момент...

И еще Грибов понял, что неприятен сам себе и сам себя не только не любит, но даже не желает себе добра... И неприязнь эта — дело ее рук; Грибов старался на нее не смотреть.

И в Любе за последние минуты тоже произошли перемены. Доверчивость, которая так и сквозила в том, что она делала весь день, на глазах сменилась отчужденностью. Люба почти замолчала, она больше не касалась его ни плечом, ни локтем, и даже ритм шагов ее становился все более четким. Ничего она больше от Грибова не ждала.

От лопаты ушли и к лопате же — вот она лежит в сумраке подворотни — и пришли.

— Ну? Все? Прощаемся? — деловито спросила Люба. Ей надо было, наверно, показать себя, что она самостоятельна, сильна, ни от кого не зависит, и Грибов подумал, что она сейчас — как шарик, бегущий по кругу к воронке.

— Ну, все, — сказала она, видя, что он застыл. — Прощай...

И не успел он ничего ответить, как она, скользнув в пролом, уже была по другую сторону ворот. И алюминиевая стружка заскрипела под ее шагами...

XI

Грибов стоял отрешенно. Ничего он не мог для нее сделать, но и разбежаться так... Разве не померещилось им сегодня, притом обоим сразу, что нет людей на свете ближе, чем они? Грибов продолжал стоять у ворот, и та игла, что сегодня уже не раз его пробовала, настигла его опять...

Люба выскочила из подворотни так, словно за ней гнались.

— Митя! Митя! Ты здесь?

Он даже не помнил, когда назвал ей сегодня свое имя. Снова заскрипела стружка. Люба стояла у пролома.

— Слушай, — задыхаясь, прошептала она. — Там кто-то есть! Наверно, это они...

— Где? Кто они? — машинально спросил Грибов, уже понимая, кто это «они» и зачем они ждут Любу на лестнице... И как почти у всякого не обремененного опытом уличных драк, душа Грибова покатила в пятки. «Да, я трус, — подумал он. — Да еще какой... Что делать-то?» А сам, оказывается, уже лез в пролом. Еще недавно, кажется, вместо встречи с теми, кто стучал в запертую на задвижку дверь, он разумно посоветовал бы просто уйти, сейчас же все было иначе.

— Пойдем! — сказал он с какой-то все растущей в нем радостью. — Пойдем!

Страх прыгал в Грибове, как тот утренний, розовый, разрезанный его лопатой червяк, но, оказывается, уж лучше страх, чем то унижение бессилья, в котором только что Грибов был.

— Возьми что-нибудь! — хватая Грибова за локоть, прошептала Люба. — У них наверняка... Да вот, хоть эту!

Она совала ему в руки какую-то поднятую ею железину — вроде болта пальца в три длиной. Грибов подошел к двери.

— А ты подожди! — сказал он.

— Как это — подожди! Я с тобой!

Грибов открыл дверь. Еще открывая, он услышал глухие голоса, они сразу же замолкли при звуке двери. После сумрака подворотни на лестнице казалось совсем темно. Грибов и Люба замерли. Те, наверху, замерли тоже. Глаза привыкли — перила уже можно было различить.

— Пошли! — прошептал Грибов.

И они двинулись.

Две темные фигуры стояли на площадке четвертого этажа, опершись задами на подоконник. Едва их увидев, Люба стиснула, потянула руку Грибова. Грибов остановился. Те двое ждали. И тут внизу снова открылась дверь. Ладонь Любы вспотела. Вот шаги внизу миновали один марш, другой.

— Пошли-пошли, — тихо сказал Грибов. Сердце колотилось. Но еще больше он боялся, что Люба заметит его страх. В левой руке он зажал Любину ладонь, а правой железный болт.

И они снова стали подниматься.

Темные фигуры на площадке оставались неподвижными. Поравнявшись с ними, Грибов пропустил за своей спиной Любу. Один из двоих оттолкнулся задом от подоконника.

— Спокойно, мужики... — пробормотал Грибов. — Спокойно...

Те ничего не ответили. Они стояли так близко, что Грибов слышал от одного из них запах гнилого зуба.

Люба поднялась выше, Грибов, пятясь, двинулся за ней. До самой ее двери, кроме собственных шагов, они никаких звуков не слышали, даже тот, внизу, вроде остановился.

Когда, наконец, они закрыли за собой дверь, — Люба уткнулась ему лицом в плечо.

— Узнала кого-нибудь?

Она замотала головой. Грибов осмотрелся. Все, как было. Тот же тюфяк, сапоги, все то же на полу. И на столе то же самое.

— Опять начнем мыть? — спросила ему в плечо Люба.

Он потянулся к бутылке, плеснул немного в стакан.

— А мне? — спросила Люба.

— Это — тебе.

Они продолжали стоять у стола. Билет на поезд у Грибова остался в общежитии. Грибов подсчитывал, сколько у него еще остается времени. Люба начала смеяться. Сначала тихо, а потом все громче, заразительней... Он кивнул на дверь с задвижкой, мол, услышат, но Люба только отмахнулась. «Истерика» — подумал он. Он пошел к крану, налил в стакан воды.

— Да все, все, — вытирая выступившие от смеха слезы, сказала она. — Я ведь что с вами сегодня забыла? Что бояться мне нечего. Мне ж никто ничего хуже сделать не может.

— Чем что? — спросил Грибов. Опять за ворот ему поползло что-то, что почудилось в том утреннем разговоре, когда он еще не знал, как ее зовут.

— Чем то, — ответила Люба уже совершенно спокойно, и тоже, как утром, ставя точку. — Ладно. Какое сегодня число? Запомните его. Чего желаете напоследок? — она приглашающе показала на стол. — Или... Меня? Можно и то, и другое. Железину-то бросьте! Что вы в нее вцепились?

Грибов молча стоял у стола. Этот вернувшийся к ней утренний лихой тон, этот смех... С чем он ее оставляет?

— Хватит, ну, хватит изобретать! — сказала Люба. Она скинула плащ и ногой отшвырнула с середины комнаты к стенам валяющиеся повсюду тюбики и флакончики. — Вы ничего, совсем ничего не можете изобрести. Но это не ваша вина. Вы ничего не можете не потому, что вы такой уж бессильный, а потому что сейчас никто ничего не может. Никто. Знаете, как один адмирал хотел мне помочь? У вас, кстати, в Ленинграде.

«Разве я говорил ей что-нибудь про Ленинград, — подумал Грибов. — Какой адмирал? При чем здесь адмирал?».

— Я тогда только школу кончила, — сказала Люба. — И придумала поступать не куда-нибудь, а в военно-морское училище. Пошла в военкомат — спрошу, думаю. Там смотрят как на сумасшедшую. Ладно, думаю, без вас обойдусь. Поехала в Ленинград, в приемной комиссии документы, конечно, не берут. Хохочут. Я — к начальнику училища. Не сразу, но на третий день пробились. Тот, как узнал, чего я хочу, и слушать не стал. Нет, думаю, я так не уеду. И стала его каждое утро ждать у подъезда. Он выходит из машины — а я тут. Он уже бояться меня стал. И один раз, вместо адмиральской машины, подъезжает милицеевская. И везут меня в отделение. И начинают составлять протокол. Ну, еще не до конца составили, а тут звонок, и что-то, слышу, обо мне говорят. Одним словом — за мной через несколько минут та самая машина прикатила, адмиральская. И доставляют в училище — прямо к адмиралу...

— Ой, врать,— сказал Грибов. Знала бы она, кому это рассказывает!

— Не верите? Честное слово дать?

— Лучше так...

— Ну тогда слушайте. Встает он мне навстречу...

— Кто?

— Да адмирал же! Встает навстречу, сажает в кресло...

— Ой.

— Прекратите! Я все равно доскажу! Сажает в кресло, рукой махнул, чтобы все вышли, и говорит: «Милая моя девочка!»...

— Ой.

— Да не вру, не вру! Именно так и говорит: «Милая моя девочка! Что нам с тобой делать?»

— Я сейчас заплачу, — сказал Грибов.

— Прекратите! Ну, правда это, правда! Неужели вы не верите? «Что нам с тобой делать, — говорит. — Ты, — говорит, — пойми, что сейчас не двадцатые годы и не начало тридцатых, и не период войны, когда ты вот так могла бы чего-то добиться — одним своим искренним напором... И тогда бы я тоже — гнал бы тебя, гнал, а потом шапку оземь и на свой страх и риск мог бы тебя принять. Ты, — говорит, — пойми, пойми меня, старого офицера, что я, несмотря на все пословицы о женщине на корабле, всем сердцем желал бы тебя принять. Может даже, больше, чем ты сама хотела бы. Ты еще знать не можешь, как на старого человека действует, если кто-то из молодых всей душой рвется его дело изучать и продолжать. Да мне, — говорит, — такой сразу родным кажется... Да принял, принял бы я тебя! И это при всем неудобстве от присутствия всего одной девушки среди курсантов! Училище-то огромное, порядок налажен, а из-за одной тебя сколько тут пришлось бы кроить и подгонять — не приведи Бог! Но и другое, другое было бы — благотворный фактор! При этом как бы ты ни училась — хорошо или плохо — все можно было бы повернуть на пользу училища. Мужчин-то настоящих — только присутствие женщин делает. Допустим, училась бы хорошо — так это всем троечникам в училище позор — девчонка их перешибает! А если плохо? Так тут помощников тебя подтянуть сразу бы столько явилось, да самых лучших, да самых бескорыстных! И можешь быть уверена — и закончила бы, и плавала бы, и на весь флот знаменита бы была! И флоту была бы огромная польза! Но, девочка ты моя, не в то время мы с тобой живем, когда я бы мог тебя принять! Нет у меня такой власти... У меня, — говорит, — если хочешь знать, вообще никакой власти разрешить что-нибудь из того, что не обозначено в инструкциях, нет. Ты не гляди, что я адмирал. Вот запретить я многое могу, а разрешить... Не то

сейчас время». А как бы, — говорит — замечательно, сам так и вижу, вот такую девушку, которая сама всего добилась, в лейтенанты вывести! Но нет на то моей власти. Поэтому не трави ты меня больше. У меня вот сын твоих лет, так он по моей дорожке идти вовсе не хочет». Сказал и к окну подошел. А потом проводил меня до самого выхода по коридору. У самой двери остановился и тихо так: «В тебе неужемность есть... Так ты побереги ее. Не то время. И запомни — никто сейчас ничего не может. Ни мэр города, ни депутат, ни адмирал...». Я вам к чему это рассказываю? Вы, кажется, не знаете, как со мной распрощаться, вам все кажется, что я беззащитная. Поезжайте себе спокойно. Сейчас, действительно, никто ничего не может. Нет, безо всяких иносказаний.

— Когда же увидимся? — спросил Грибов.

— А вы этого хотите? Уверены, что хотите?

Люба на глазах делалась все тверже, все насмешливей, и ему становилось от этого все легче.

— Вернетесь — заходите... Когда вернетесь?

— Через три дня.

Ее глаза остановились лишь на секунду.

— Ну, что ж... Значит, какой это день будет?

Он сказал, она кивнула и, подобрав с пола помаду, написала число на обоях.

— Сюда приходить? — спросил он.

— А что, есть другие варианты?

Глаз ее ему было больше не поймать.

— Железку, железку не забудьте, — весело сказала Люба.

XII

На лестнице никого не было, только там, где недавно маячили темные фигуры, густо шуршали под ногами окурки. Пахло мочой. На площадке второго этажа он задел ногой пустую бутылку, и она отирательно отпрыгивая от камня, но почему-то не разбиваясь, покатила по ступенькам в темноту. Он оцепенел, а придя в себя, обнаружил, что стоит на цыпочках.

Однако в троллейбусе, по дороге в общежитие, Грибов совершенно пришел в себя. Сосед по комнате лежал, держа перед собой газету. Собрав сумку, Грибов тоже прилег, задрав ноги на спинку койки. «Пять минут», — сказал он себе. И провалился.

— Что за деваха-то? — тут же будя его, спросил сосед. — Стоящая хоть?

Грибов потянулся, свирепо зевнул и с неохотой встал.

— Стоящая? — кося глазами от газеты, повторил сосед.

— Да смешная... какая-то... — ответил Грибов и вдруг, сам

удивляясь своей откровенности, добавил: — Считает, что кто-то следит за ней. Будто бы убить хотят...

— А-а... Чокнутая, — потеряв интерес, сказал сосед. — Ты смотри, они такие... Еще отрежет тебе что-нибудь...

— Мне? — идиотски переспросил Грибов.

— Нет, мне, — сказал сосед.

Поезд ушел у Грибова из-под носа. Он чувствовал, что опаздывает, но даже выйдя из метро, не прибавил шагу. Туповато посмотрев вслед поезду, он побрел по перрону обратно. Вместо досады, его опять одолевала сонливость.

Сосед по комнате, несмотря на первый час ночи, был одет и чистил ботинок, задрав ногу на подоконник. Лицо его, когда он понял, что Грибов вернулся, удлинилось.

— Не горюй, — сказал Грибов. — Завтра уеду.

Когда на следующий день Грибов пришел к воротам с проломом, пролом оказался завязанным толстой железной проволокой. Подъездов, выходящих на улицу, в доме не было, и выход в соседний двор был перекрыт глухо. Грибов вернулся, потрогал проволоку, отошел, подошел снова.

— Сашку не видел?

За спиной Грибова стоял хриплый мужик со свекольной рожей.

— Какого Сашку?

Разогнуть такую проволоку голыми руками нечего было и думать.

— Ну, Сашку, — сказал свекольный, — из углового. С Милкой еще живет. Да не, не пролезешь.

Было воскресенье, но около здания курсов почему-то стоял проректор. Стоял и улыбался.

— А-а... Морячок! — вспомнил он. — Ты вчера заявление какое-то... Ну, ладно, ладно, подумай еще! А Елена Петровна что-то...

Ничего он не помнил. Глаза его уютно слезились. Грибов взял проректора под руку, а тот по-стариковски обрадовался, поприжал его руку и залопотал что-то многословное, неинтересное, нафталин какой-то. Да еще в глаза заглядывал. И они побрели по Москве. И никак Грибову было старика не оставить.

В голове же у Грибова все время как бы повторялись его собственные, сегодняшние, теперь уже прошлые действия — да, он пришел, он — у ворот, но пройти-то не может — проволока... «А как же там Люба? — спрашивал он себя. И отвечал: значит, нет там Любы... А если есть? Если она все-таки там? И опять отвечал: нет, не может же в нынешней жизни быть так, чтобы человека в центре Москвы вот так заперли, просто замотав проволокой

ворота... Не может, — говорил он себе, — не могли. Не могли-то не могли, но тебя самого эта проволока остановила?».

Когда, наконец, он отвел проректора домой, то неожиданно для себя попросил плоскогубцы. Старик оживился, глазки его засветились сообразительностью, спросил, для чего.

— Да так... одно дело... — замаялся Грибов. — Просто магазины в воскресенье не работают.

И тот закивал, будто понял, и, пошебаршившись, принес здоровенные клещи: других, — сказал, — нет. Пришлось заворачивать в газету.

Но проволока на воротах оказалась уже разогнутой, отверстие открыто. Изнутри это сделали? Снаружи? И что же теперь? Лезть?

Оказывается, среди бела дня на виду у своих сокурсников лезть в пролом вслед за Любой было все же легче, чем забираться туда одному. Грибов несколько минут постоял, прежде чем решился. Ему казалось, что стоит лишь просунуть в пролом ногу, как завоет милицейская сирена, прибегут люди. Но все прошло тихо, если не считать того, что опять под ногами завизжала алюминиевая стружка.

Добравшись до той площадки, с которой раньше виднелись хромированные баки, Грибов посмотрел вдоль коридора, но коридор был теперь перекрыт глухой дверью. А были ли баки? Или ему уже мерещилось? А та площадка, где стояли в темноте двое? Окурки кто-то сгреб в сторону. Кто?

Дверь без ручки, которую открыла тогда Люба, была плотно вжата в косяк. Он постучал. Ответа не было. Он постучал еще раз — уже сильнее. Опять никого. Тогда он замолотил в дверь ногой так, что гул пошел по всей мертвой лестнице. Прекратив стучать, Грибов прислушался. За дверью, как показалось ему, слышался какой-то шорох.

— Откройте! — громко сказал Грибов.

Но за дверью опять не было слышно ни звука. Он снова постучал. Если кто-то его и слышал, то теперь этот человек затаился.

— Люба! Это я, — крикнул Грибов и назвал по имени.

За дверью была тишина. Он постучал еще раз, потом еще. Попытался открыть дверь, как это сделала сама Люба, запустив все пальцы в щель порванного картона, но напрасно.

В какой-то момент Грибову опять померещилось, что он слышит, как за дверью удаляются шаги. Он забарабанил с новой энергией.

— Эй, слушайте! Не уходите! Скажите хоть, где Люба? Куда делась?

По тем же признакам, по которым ему показалось, что за дверью кто-то стоит, сейчас ему стало ясно, что за дверью уже никого нет. «Кто же там был? Старуха? Конечно, старуха, — подумал Грибов, — кто же еще?».

Грибов отошел было от бомжовского дома, но — вернулся, припрятал за батареей на лестнице клещи. Дом был, как избушка на курьих ножках: он поворачивался к пытающемуся войти то передом, то задом. Грибов был теперь от него в зависимости...

XIII

А в Москве попробуй да в зависимость не попади! Монастыри и крепостные башни, кабаки и кладбища — и те издавна подчинялись ее центральному магниту, и, ему же подчиняясь, залегло в глубине, схематично повторяя паутину главных магистралей, метро. И в эту же паутину все втискиваются и внедряются — и заводы, и стадионы, и шоссе, и обхваты, и далее — за кольцевыми дорогами — концентрически по отношению все к тому же Кремлю — наматываются кольца уже других, внегородских, но зависимых от столицы общностей. Так, первым за объездными бетонками и железнодорожным обхватом, можно рассмотреть «золотое кольцо» древних городов, этот синхрофазотрон «Интуриста», на котором оный «Интурист», разогнав по нему конвертируемых иностранцев, выжимает валютную копейку; взяв другую лупу и иной подцензурности карту, сквозь то же «золотое кольцо» можно разглядеть и другое — не золотое, например, местной невеселой энергетики на торфе и буром угле, или «бублик» унылой районной промышленности: оборудование допотопно, а посреди огромных поселков, так называемого городского типа, стоит в озадаченности раскачиваемый ветром мужик в ватнике, как бы ожидающий, чтобы ему сообщили: городской он, наконец, житель или все еще нет? Житель этот всегда вполпьяна, но чем же еще заняться, кроме бутылки, если нет ни у кого ни своей земли, ни своей мастерской, ни неотъемлемых прав, ни жестких обязанностей — только полицейский поводок прописки, а кругом проклятущее, да еще доведенное до полного развала ничье добро — земля, которая не родит, скот, который сам ест, но страну не кормит, заводы, над которыми висят лисьи хвосты. И все в жизни этого жителя дальнего пригорода Москвы какое-то такое, что лишь на время может заменить и настоящее жилье, и настоящую работу, и настоящие отношения с другими людьми — неполноценное, временное, чтоб только как-то перебиться. Потому что в нашей истории вековая пересменка. И смотрит этот герой пересменки вопросительно только туда — в сторону Москвы, где мерещатся ему водочные реки и колбасные берега. Но туда — хода ему нет,

разве что отстоять очередь номер один на Красной площади и снова вернуться на Курский вокзал. Потому что географически ему так выпало — идти третьим сортом — в московские лимитчики...

Следующее кольцо — круг еще более заштатных, забытых Москвой в их полупроголоди, старинных русских и татарских названий — Весьегонск, Буй, Кинешма, Моршанск, Пронск, Жиздра, Осташков и даже Бологое, то Бологое, которому не помогает даже тот факт, что сидит оно аж на шпалах тех самых рельсов, по которым скользят еженощно поезда номер один и номер два.

Рассказать, кто в этих поездах ездит?

XIV

Еще с час Грибов выяснял, как в ту квартиру можно попасть с другой лестницы. Но дом оказался путаной архитектуры, а квартира расположена так, что на другую лестницу вход был лишь с другого двора. Следующие ворота оказались сплошными и закрытыми наглухо. Третий же двор с нужным Грибову домом никак не соединялся. Зайдя в этот двор, Грибов спросил, как попадают в соседний дом. Ему ответили, что с параллельной улицы.

Грибов обошел квартал, пытаясь представить себе крыши домов сверху, нашел, как ему показалось, нужный двор, определил лестницу. По мере того, как он поднимался по этой лестнице, ему становилось все яснее, что такая лестница не может вести к берлоге, которую он ищет. На перилах висели украшения в виде железных цветов и листьев, в верхних фрамугах еще оставались мелкие переплеты с витражными стеклышками. Грибов говорил себе, что именно так и различались раньше парадная и черная лестницы и нет в таком различии ничего странного, напротив... Но уже и высота этажей смущала — другая была высота. Дверь в квартиру, куда он позвонил, открыли почти сразу. На пороге стояла пожилая подтянутая женщина в строгих прямоугольных очках. Вторая, такая же, караулила сзади.

— Люлеша, кто там? — спросила вторая. — Что гражданину нужно?

Грибов мучительно подбирал слова.

— Какая черная лестница? — подозрительно спросила первая. — Вы что-то путаете.

В глубине квартиры пел пластиночный Лемешев «Или Козловский», — подумал Грибов. Оказывается, он их не различал, поколение Грибова было уже равнодушно к тенорам.

— Люлеша, по-моему, ты все объяснила гражданину, — сказала вторая.

Со старухой, которая кряхтела так же, как та, у которой Люба

снимала комнату, Грибов неожиданно столкнулся нос к носу во дворе. Старуха стояла и тяжело, с кряхтением, кашляла.

— Где Люба? — спросил Грибов. — Куда она делась?

Старуха перестала кашлять и оглянулась. Глаза у нее были пустые и одновременно цепкие.

— Кака така Люба? Не знаю.

— Да как же! У вас в квартире со стороны черной лестницы... Я был там у вас...

— Нигде ты у меня не был.

— Да Люба... ну, Люба, ваша квартирантка! Что вы притворяетесь! Угол-то у вас она снимает?

Старуха снова закричала, продолжая озираясь.

— Никто у меня ничего не снимает.

Не умел Грибов против таких людей, ничего не умел.

— Ну, как же...

— А вот так же.

— В милицию, что ли, идти? — сказал он.

— А что? — вдруг странно оживилась старуха. — Давай, милый, пойдем! Пойдем! Расскажешь, как по квартирам-то лазишь. Пойдем-пойдем, там все и расскажешь! Как в чужую квартиру без хозяйки залез. И деньги вытащил. Двести рублей на тебя запишу, чтоб знал!

«И запишет», — подумал Грибов.

— Где Люба, скажите, по-человечески же прошу...

— Иди! Иди, куда не сдала, куда нужно! — яростно растопырив локти, крикнула старуха. — В кварталы, вишь, залазит, а потом Люба ему кака-то! Козел паршивый! Я те такую Любу покажу... икать забудешь!

Старуха повернулась к Грибову спиной и заковыляла, подволакивая ногу. Подворотня, в которую она скрылась, вела еще в один двор.

Ошпаренный ее криком, Грибов стоял, не зная, что дальше делать. Та эта старуха? Не та? Мало ли кашляющих? Последняя ниточка к Любе рвалась, и другой не будет. Это в лесу можно найти человека, в Москве не найдешь.

Чтобы увидеть, к какой из лестниц пошла старуха, Грибов двинулся вслед, но в подворотне опять столкнулся с ней — та, оказывается, сама ждала его, держа наготове синий пластмассовый свисток.

— Грабют, — негромко и совершенно спокойно произнесла старуха, и захлебывающаяся милицейская трель наполнила подворотню.

— Прекратите! — сказал Грибов.

Свисток на миг замолчал, старуха сделала глубокий вдох,

кашлянула, вновь тихо произнесла: «Грабют», — и засвистела опять, глядя на Грибова бессмысленным взором.

— Прекратите! Да прекратите же! — крикнул Грибов.

Возникла дворничиха, сразу за ней еще две.

— Грабют, — прерывая свист, радостно сообщила старуха. — Сдайте его, бабоньки.

Грубо и равнодушно его вытолкали со двора.

К кассам на вокзале он даже не пошел — предвидел бессмысленность, — отправился сразу на перрон и не ошибся. Уже в середине состава он нашел проводницу, которая на его вопрос, нет ли места, ничего не ответила, но посмотрела вдоль поезда в оба конца. Так и вышло — место нашлось. Грибов сразу же лег и заснул, словно провалился. Но уже скоро то ли от звука какого-то, то ли от тряски открыл глаза, и Люба привиделась ему так ясно и близко, словно была тут же в купе. Перед ним стояло ее лицо, и оно было дерзким и веселым, как вчерашним утром на бульваре. Глаза ее все теплели, и, продолжая так смотреть на Грибова, Люба уже была рядом с ним, и он опять чувствовал ее горячее дыхание. «Но если все так сразу и так все беспрепятственно, так это не может означать ничего настоящего», — говорил себе опытный, начитанный, вторично женатый Грибов. — Дорожим-то мы в конце концов лишь тем, чего долго и трудно добивались», — объяснял он себе. Все-то он понимал, все знал заранее, но прошел еще час, а Грибов то вертелся, то, внушая себе, что спит, насильно закрывал глаза, то заставлял себя думать, как проведет завтрашний день в Ленинграде. Но завтрашний день на ум не шел, опять возвращалась Люба... Сна не было.

Он вышел из купе в коридор. Коридор был до гулкости пуст, лишь на откидном сиденье качалась китайским болванчиком пожилая сухонькая женщина.

— До Бологого-то и досижу, — как знакомому, негромко объяснила она.

У ног женщины стояли ее вещи. И непонятно было, то ли безбилетница сидит тут по милости проводницы, то ли заранее собралась, чтобы не тревожить ночными сборами купе.

Ощущая похожую на голод потребность хоть кому-то рассказать, что с ним происходит, Грибов приостановился у темного стекла. Желал он говорить, конечно, о Любе, но кому? Этой тетке? Через десять минут он уже неудержимо вещал вглядывавшейся в него случайной попутчице про странные свои курсы.

Попутчица смотрела на него внимательно и даже, кажется, слегка волнуясь, а когда он назвал цифру стипендии — сто пятьдесят рублей, — всплеснула сухими ладошками с таким искренним изумлением и глаза ее мгновенно так ожили, что ясно

стало одно: из всей путаницы его монолога женщина не поняла ни слова.

— Чего только не бывает... — пробормотала она, глядя на Грибова то ли с восхищением, то ли с ужасом.

«Как о нечистой силе», — подумал он.

В Бологом Грибов откатил дверь в спальное купе, взял сумку и мимо заспанной проводницы пошел на перрон.

— Куда это? — подозрительно посмотрела она вслед.

Он махнул рукой — к перрону с другой стороны подплывала «Красная стрела» из Ленинграда. Утром Грибов снова был в Москве.

Увидев его перед лекцией, Елена Петровна сделала круглые глаза:

— Пойдите, пойдите... Я чего-то не понимаю...

Но Грибов прошел мимо и сел на свое место. Сзади его хлопнули по плечу. Это был сосед по общежитию.

— Ты ж вроде уехал, — сказал сосед.

— Ну, уехал.

— А-а... — понимающе протянул тот. — Извини.

Первую лекцию Грибов отсидел, ничего не понимая. С трудом дождавшись перерыва, он вышел на бульвар. Не раннее уже утро продолжало быть каким-то белесым. Тонким пером были прочерчены в прохладе полутумана троллейбусные провода и голые, черные, но уже живые ветви деревьев.

Дом, который манил Грибова, виднелся через бульвар наискосок, по ту сторону бульварного кольца, которое, — он так подумал, — этот дом просто зажал.

И еще он подумал, что так хочет увидеть эту девушку, как давно ничего не хотел. Но что за причина?

Господи, какой он все-таки осел! Ведь клещи-то он спрятал на той лестнице, но как он туда попадет, если пролом опять замотан?

Грибов пересек бульвар и подошел к знакомым воротам. Прореха в воротах оказалась открытой.

Уже почти привычно Грибов скользнул взглядом в обе стороны. Кроме явно случайных прохожих, лишь какие-то похожие на бомжей двое маячили у соседнего дома. Но приглядываться Грибов не стал. Тех, в полутьме лестницы, он все равно не рассмотрел.

Лезть в пролом на этот раз оказалось намного проще.

Да нет, куда она может пропасть? Она тут! За сутки, конечно, не переместить хозяйство, какое оно ни птичье... Ну, не застал, ну, уходила, но сейчас-то...

«А если она не одна?» — подумал Грибов. Да нет, не может быть. Не может так быть. Потому что тогда все, что он сейчас

делает,— включая его ночную пересадку в Бологом,— полная чушь и идиотская глупость. Включая и это, заслонившее все остальное, желание — поскорей ее увидеть. Он понимал, что не для его возраста это волнение, а главное, не для его нынешнего характера, но ничего не мог с собой поделать. Вот только поднимется по этой лестнице, увидит ее, а потом снова заживет правильно. Так правильно, что будет даже скучно. Но сейчас он должен ее увидеть. И ничего уже не может этому помешать.

«А если у нее все-таки кто-то там есть? Ну, и пусть. Мы ему скажем, чтобы валил... Кто это мы? Мы,— сказал он.— Мы — это я и Люба. Мы с Любой. Так и скажем: вали-ка, дружок. Но нет там у нее никого...».

Грибов миновал второй этаж вымороченной лестницы. Дверь в коридор, в конце которого отсвечивали нержавеющей сталью таинственные баки, ради понедельника опять были раскрыты, и опять там, вдалеке, маячили какие-то белые халаты, но было это, как за толстым, да еще исцарапанным стеклом. Звуки оттуда на лестницу едва доносились.

Грибов миновал третий этаж. На следующем этаже, за батареей, он спрятал вчера клещи. Надо будет на обратном пути их не забыть.

На промежуточной площадке между третьим и четвертым этажами валялась на боку женская черная туфля. Грибов тронул ее носком ботинка. Тусклым золотом блеснула на стельке иностранная надпись. «Да это же ее туфля», — узнал он и поднял глаза.

На площадке четвертого этажа кто-то лежал. Грибов сначала увидел ноги. Одна была в туфле.

— Эй! — негромко сказал Грибов. — Эй!

Вышло так гулко, так слышно на всю лестницу, что он невольно оглянулся. Лежащая не шевелилась. «Неужели так напилась?», — отказываясь даже предполагать что-либо другое, подумал он. Он поднялся на ступеньку, потом еще на одну, затем еще. Девушка лежала ничком на цементе площадки, и вставший горбом плащ и рассыпавшиеся волосы закрывали ее повернутое боком лицо. Но это был ее плащ, ее волосы, ее ноги.

— Эй! — повторил Грибов. — Вставай!

Девушка не шевелилась. Грибову стало жарко, он задохнулся, в тишине лестницы пошло считать гулкие удары его сердце. Грибов присел около лежащей, дотронулся до плеча. Плечо было костяное. Он потянулся к волосам, убрал их со щеки. Это была Люба. Полуоткрытый глаз ее смотрел прямо в цементный пол. И тут он увидел кровь. Кровь была под головой, под телом, и поэтому он сначала ее не заметил. Повинуясь чему-то, чего сам

не смог бы объяснить, Грибов, леденя, приподнял тело Любы за плечи. Ему надо было для чего-то заглянуть ей в лицо.

И только тут Грибов закричал. Висок Любы, которым она приникла к полу, оказался продавленным внутрь головы. Тут же, прямо в черной, загустевшей луже, лежали огромные старомодные клещи.

Грибов оцепенел, выпрямился и, цепляясь ногами за ступеньки, бросился вниз. На алюминевые стружки в подворотне его вырвало.

XV

... А уж за теми кругами-кольцами следует Кольцо российских обкомов. Многорядное кольцо это тяжелей и ухватистей прочих. Все, что было местнического и неповоротливого в старину, что покабаны веками держало оборону против всякого свежего ветра, что не давало сначала крестить, затем объединять Русь, а потом брить бороды и танцевать на ассамблеях, а потом обзаводиться университетами и избавляться от крепостного права, все то, что мешало дать конституцию Польше, самоуправление Финляндии, отменить черту оседлости, ввести парламентаризм, что так искренне ненавидело саму мысль о свободе выезда и вольной печати, но что, так рабски оживляясь, рукоплескало любому сигналу сверху на ограничение и зажим — все это, благополучно просуществовав века, сидит там и сейчас. Затылки главных лиц, похожие на поросшие мохом булыжники, размытые лица замзавотделов, гладкопричесанные инструкторы и, вместо знания иностранных языков, умение читать между строк, да серые здания — с флагом — на голых асфальтовых площадях. А вокруг этих забытых богом городов — гниющие рыжие свалки, перламутровые отбросы мясокомбинатов, на которых уже самовывелся особый вид сухопутной чайки, розоватые от выступивших наружу химикатов поля, курганы удобрений на берегах рек и белые ручьи, стекающие с этих берегов. А в городах — пустые магазины, захарканный вокзал да убогий воскресный базар — десятипроцентный раствор хищных и юрких проныр в нищем растяпстве...

Россия хрипит в смиренной рубашке, которую сама на себе из века в век затягивает. Давит, давит и Россию, и Москву эта смиренная рубашка. Губарнаторская власть, как пелось в одной песне, хуже царской...

XVI

После того, как Грибов вернулся в Ленинград, прошло уже несколько месяцев. Он вернулся на тот же завод, с которого отправился на курсы в Москву, но место его оказалось занятым, и, так как он сразу же согласился на должность и пониже,

и подешевле прежней, то о нем пошел слух, что вернулся он не доучившись, потому что опасно болен. Нелюдимость — как новую его черту — и темные очки, которые после возвращения он стал постоянно носить, восприняли как подтверждение диагноза.

Однажды, глубокой ночью, в дверь квартиры Грибова кто-то позвонил. Жена Грибова Вероника проснулась и, не зажигая света, чтобы никого не будить, вышла в прихожую.

Позвонили, оказалось, ошибочно, просто перепутали этажи. Вернувшись в спальню, Вероника почувствовала неладное и зажгла свет.

Грибов, с дикими глазами, босиком, стоял, вжавшись спиной в угол за шкафом.

— Худой сон? — спросила разумная, никогда не спрашивающая больше, чем можно, Вероника. — Таблетку дать?

... Такой боли в груди и такого страха Грибов не знал. А он, страх, все наваливался и наваливался, и боль все росла и росла, как будто ему, Грибову, предстояло что-то такое, чего никто и никогда не испытывал...

Глинка М. С.

**Г54 Уголовно-бульварный роман. — Луцк: М. П. «Світязь»,
Волынское редакционно-издательское предприятие «Надс-
тир'я», 1992. —48 с.**

ISBN S 7707—2331-9

Г 4703010100—041

Без объявления

ББК 84/2—Рус./7

92

Литературно-художественное издание
Г л и н к а Михаил Сергеевич
«Уголовно-бульварный роман»
Редактор С. П. Леонтьев
Худ.-техн. ред. В. Ф. Кратюк
Корректор М. В. Павсюк

М. П. «Світязь»
263000 Луцк, Крылова, 1/323

Волынское областное редакционно-издательское предприятие «Надстир'я»
263016 Луцк, Леси Украинки, 7

Сдано в набор 01. 02. 92. Подписано к печ. 19. 03. 92. Формат 60×84/16. Бум. книж.-журн.
Печать офсет. Усл. печ. лист. 2,91. Усл. крас. отт. 3,16. Уч. изд. лист. 2,75. Тираж 30 тыс. экз.
Изд. № 23. Заказ 357. Цена договорная.

Волынская областная типография
263010 Луцк, пр. Воли, 27

